Медленный человек

Автор:
Джон Кутзее

Медленный человек

Джон Максвелл Кутзее

Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий

Пол Реймент, герой романа, на полной скорости летящий по жизни и берущий от нее по максимуму, внезапно на одном из поворотов судьбы превращается из «человека-ракеты» в «человека-улитку», которого медленно затягивают в себя зыбучие пески одиночества. И лишь любовь, спасительная соломинка, способна не дать ему навсегда расстаться с миром живых людей. Вот только цена этой любви бывает чересчур высока…

Дж. М. Кутзее

Медленный человек

J.M. Coetzee

Slow Man

© J.M.Coetzee, 2005

All rights are reserved by the Proprietor throughout the world By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc.

© Фрадкина Е., перевод на русский язык, 2016

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Глава 1

Удар обрушивается на него справа, резкий, внезапный и болезненный, как удар током, и сбрасывает его с велосипеда.

«Расслабься!» – говорит он себе, пролетая в воздухе (пролетая в воздухе с величайшей легкостью!), и он действительно чувствует, как конечности его послушно расслабляются.

«Как кошка, – говорит он себе, – крутись, потом вскочи на ноги, готовый к тому, что последует».

Необычное слово «податливый» уже появилось на горизонте.

Однако все выходит не совсем так. То ли оттого, что его не слушаются ноги, то ли оттого, что он оглушен (он скорее слышит, нежели чувствует удар своего черепа об асфальт – отдаленный, деревянный, словно звук колотушки), он не вскакивает на ноги, а все скользит и скользит, метр за метром, пока его не убаюкивает это скольжение.

Он спокойно лежит вытянувшись. Какое великолепное утро! Прикосновение солнышка такое ласковое! Бывают вещи и похуже, нежели просто вот так расслабиться, поджидая, пока к тебе вернутся силы. Действительно, не так уж и страшно немного соснуть. Он прикрывает глаза. Мир под ним накреняется и кружится; он отключается.

На короткое время к нему возвращается сознание. Тело, которое так легко плыло по воздуху, становится тяжелым, таким тяжелым, что он ни за что на свете не сможет пошевелить пальцем. И кто-то навис над ним, перекрывая кислород, – юнец с волосами, как проволока, и крапинками вдоль линии волос.

«Мой велосипед», – говорит он ему, по слогам произнося это трудное слово.

Он хочет спросить, что с его велосипедом, позаботились ли о нем, – ведь хорошо известно, что велосипед может исчезнуть в мгновение ока. Но, не успев произнести эти слова, он вновь теряет сознание.

Глава 2

Он раскачивается из стороны в сторону – его куда-то везут. Издалека доносятся голоса – гул, который то усиливается, то затихает, повинуясь своему собственному ритму. Что происходит? Если бы приоткрыть глаза, он бы это узнал. Но пока что он не может. Что-то до него доходит. По одной букве – щелк, щелк, щелк – сообщение печатается на розовом экране, который дрожит, как вода, каждый раз, когда он моргает, и поэтому подобен внутренней стороне его собственного века. «Е-Н-И-Е», говорят эти буквы, затем «Ф-Р-И-В-О-Л», затем дрожание, потом «Е» и «Н-Е-Н-И-Е» и так далее.

«Фривол». Его охватывает паника. Он извивается; в пещере внутри него нарастает стон и вырывается из горла.

– Сильно болит? – спрашивает голос. – Не шевелитесь.

Укол иглы. Спустя минуту исчезает боль, потом проходит паника, и, наконец, отключается сознание.

Он просыпается в коконе мертвого воздуха. Пытается сесть, но безуспешно. Вокруг – сплошная белизна: белый потолок, белые простыни, белый свет; зернистая белизна, подобная засохшей зубной пасте, кажется, покрыла и его мозг, так что он плохо соображает. Он приходит в отчаяние.

«Что это такое?» – произносит он, возможно, даже кричит, подразумевая: «Что это со мной делают?», или «Где это я очутился?», или даже «Что это со мной приключилось?»

Из ниоткуда появляется молодая женщина в белом, останавливается и бдительно всматривается в него. Он пытается сотворить вопрос из путаницы в голове. Слишком поздно! Улыбнувшись и похлопав его по руке, чтобы успокоить, – он каким-то странным образом скорее слышит, нежели ощущает этот жест, – она уходит.

Это серьезно? Если времени хватит всего на один вопрос, то он должен быть именно таким. Правда, лучше не вдумываться, что может означать слово «серьезно». Но еще настоятельнее, чем вопрос о серьезности, настоятельнее, чем затаившийся вопрос о том, что же произошло на Мэгилл-роуд, из-за чего он оказался в этом мертвом месте, – необходимость отыскать дорогу домой, закрыть за собой дверь, усесться в знакомой обстановке, прийти в себя.

Он пытается дотронуться до правой ноги – ноги, которая все время посылает неясные сигналы, что с ней что-то не так, но рука не шевелится, вообще ничего не шевелится.

Моя одежда. Может быть, задать этот невинный вопрос в качестве пробного камня?

«Где моя одежда? Где моя одежда и насколько серьезно мое положение?»

Молодая женщина снова вплывает в поле его зрения.

– Одежда, – произносит он с великим усилием, как можно выше приподняв брови в знак безотлагательности ответа.

– Не беспокойтесь, – отвечает молодая женщина и одаривает его еще одной улыбкой – прямо-таки ангельской улыбкой. – Все в порядке, обо всем позаботились. Через минуту будет доктор.

И в самом деле, не проходит и минуты, как рядом с женщиной материализуется молодой человек – видимо, тот самый доктор, о котором шла речь, – и что-то шепчет ей на ухо.

– Пол? – говорит молодой доктор. – Вы меня слышите? Правильно ли я произношу ваше имя? Вы – Пол Реймент?

– Да, – тщательно выговаривает он.

– Добрый день, Пол. Сейчас вы будете немного как в тумане, потому что вам ввели морфий. Скоро мы отправимся в операционную. Вы попали в катастрофу. Не знаю, все ли вы помните. Ваша нога сильно пострадала. Мы хотим взглянуть и решить, какую часть можно спасти. Спасти вашу ногу, – повторяет доктор. – Мы собираемся ампутировать, но обязательно спасем то, что можно.

Наверное, в эту минуту что-то случилось с его лицом: молодой доктор делает удивительную вещь – касается его щеки, и рука остается там, поглаживая голову пожилого человека. Такой жест могла бы сделать женщина – женщина, которая кого-то любит. Это смущает его, но ему неудобно отстраниться.

– Вы мне доверитесь в этом вопросе? – осведомляется доктор.

Пол молча моргает.

– Хорошо. – Доктор делает паузу. – У нас нет выбора, Пол, – продолжает он. – Это не та ситуация, где есть выбор. Вы это понимаете? Вы даете свое согласие? Я не собираюсь просить вас расписываться на документе, но вы даете свое согласие, чтобы мы приступили? Мы спасем все, что можно, но вы сильно пострадали. Я не могу пока сказать, удастся ли нам сохранить, к примеру, колено. Оно очень покалечено, и большая берцовая кость тоже.

В эту минуту правая нога, как будто зная, что речь идет о ней, словно бы эти ужасные слова прервали ее беспокойный сон, посылает ему луч прерывистой белой боли. Он слышит собственное тяжелое дыхание, затем – биение крови в висках.

– Ладно, – говорит молодой человек и легонько треплет его по щеке. – Пора двигаться.

Он пробуждается в гораздо большем согласии с собой. Голова ясная, он снова стал прежним («На коне!» – думает он). Правда, его охватывает приятная сонливость, в любую минуту он может снова задремать. Такое ощущение, что пострадавшая нога стала огромной, прямо-таки слоновьей, – но она не болит.

Открывается дверь, и входит сестра – новое, свежее лицо.

– Чувствуете себя получше? – спрашивает она, потом поспешно добавляет: – Не пытайтесь пока что говорить. Скоро подойдет доктор Ханзен, чтобы побеседовать с вами. А пока нам нужно кое-что сделать. Могу ли я попросить вас немного расслабиться…

Он расслабляется, и тут становится ясно, что именно ей нужно сделать: ввести катетер. Как это мерзко – проделывать с человеком такое! Слава богу, этим занимается та, с кем он незнаком.

«Вот к чему это приводит! – укоряет он себя. – Вот что происходит, когда отвлечешься хоть на минуту! А велосипед – что с велосипедом? Как же мне теперь ездить за покупками? И зачем только я поехал по Мэгилл-роуд?»

И он проклинает Мэгилл-роуд, хотя на самом деле много лет ездил на велосипеде и ничего худого не случалось.

Появляется молодой доктор Ханзен и представляет краткий отчет, чтобы он был в курсе, а затем сообщает более конкретные новости о его ноге – некоторые из них хорошие, но есть и плохие.

Во-первых, относительно его состояния в целом, с учетом того, что может случиться и случается с человеческим телом, когда на него налетает автомобиль, идущий на большой скорости, – тут он может поздравить себя с тем, что нет ничего серьезного. Фактически тут полная противоположность серьезного, он может считать себя везучим, счастливчиком, человеком, родившимся в рубашке. Да, при столкновении он получил сотрясение мозга, но его спас шлем на голове. Наблюдение будет продолжено, но нет никаких признаков черепно-мозговой травмы. Что до двигательных функций, то, по предварительным данным, они не нарушены. Он потерял некоторое количество крови, но это компенсировали. Если его удивляет, что одеревенела челюсть, то она не сломана, а лишь ушиблена. Ссадины на спине и на руке хоть и страшные на вид, но неопасные и заживут через пару недель.

А теперь о ноге – той, что приняла на себя удар. Ему, доктору Ханзену, и его коллегам, как оказалось, не удалось сохранить колено. Они всесторонне все обсудили и приняли единогласное решение. Удар – позже доктор покажет ему

рентгеновский снимок – пришелся прямо в колено, а тут еще вдобавок вращение. Словом, сустав одновременно трясло и выкручивало. Будь он помоложе, они, возможно, решились бы на восстановление, но это потребовало бы целой серии операций, одна за другой, на что ушел бы год, а то и два. Надежда на успех – менее пятидесяти процентов, поэтому, учитывая его возраст, решили, что лучше всего ампутировать ногу выше колена, оставив кость достаточной длины – для протеза. Он, доктор Ханзен, надеется, что он, Пол Реймент, поймет мудрость этого решения.

– Я уверен, что у вас множество вопросов, – говорит доктор в заключение, – и я с радостью попытаюсь ответить на них, но, быть может, не сейчас, а лучше утром, после того как вы немного поспите.

– Протез, – выговаривает Пол еще одно трудное слово. Правда, теперь, когда он в курсе дела насчет челюсти, которая не сломана, а лишь ушиблена, его уже не так смущают трудные слова.

– Протез. Искусственная конечность. Как только заживет хирургическая рана, мы подберем протез. Через четыре недели, а может быть, и раньше. Вы даже опомниться не успеете, как снова будете ходить. И ездить на своем велосипеде, если захотите. Немного потренировавшись. Еще вопросы?

Пол качает головой.

«Почему вы сначала не спросили меня?» – хочет он сказать.

Но если он произнесет эти слова, то потеряет самообладание и сорвется на крик.

– Значит, я побеседую с вами утром, – говорит доктор Ханзен. – Выше голову!

Однако это еще не все. Сначала насилие, затем согласие на насилие. Нужно подписать бумаги, прежде чем его оставят в покое, и эти бумаги оказываются удивительно трудными.

Например, семья. Кто члены вашей семьи, спрашивают бумаги, где они и каким образом следует их проинформировать? И страховка. Кто его страховщики? Какое страхование обеспечивает его страховой полис?

Страхование не проблема. Он застрахован на всю катушку, доказательством служит карточка у него в бумажнике, уж его-то не назовешь непредусмотрительным, – но где его бумажник, где его одежда? С семьей сложнее. Кто его семья? Каков правильный ответ? У него есть сестра. Она скончалась двенадцать лет тому назад, но все еще живет в нем и с ним; точно так же у него есть мать, которая в то время, когда не в нем или не с ним, ожидает зова рожка ангела в своей могиле на кладбище в Балларате. Отец тоже пребывает в ожидании, правда, несколько дальше, на кладбище в Пау, откуда изредка наносит визиты. Являются ли они его семьей – эти трое?

«Те, в жизнь которых ты приходишь, родившись, не умирают, – хотелось бы ему проинформировать того, кто составил этот вопрос. – Ты носишь их с собой, как, надеюсь, тебя будут носить те, что придут после тебя».

Но на бланке нет места для пространных ответов.

Вот насчет чего он более уверен – это что у него нет ни жены, ни детей. Когда-то он, несомненно, был женат. Но его партнерша в этом предприятии больше не имеет к нему отношения. Она сбежала от него, сбежала безвозвратно. Он так пока и не понял, как ей удался этот трюк, но что есть, то есть: она сбежала в свою собственную жизнь. Поэтому с практической точки зрения, а тем более с точки зрения этого бланка он не женат: не женат, холост, одинок, один.

Семья: «НЕТ» – пишет он печатными буквами, а сестра подглядывает. Затем он ставит прочерки против других вопросов и подписывает оба бланка.

– Дата? – спрашивает он у сестры.

– Второе июля, – отвечает она.

Он проставляет дату. С двигательными функциями все в порядке.

Таблетки, которые он принимает, должны притупить боль и подействовать как снотворное, но он не засыпает. Это – странная кровать, голая комната, запах антисептика и (чуть-чуть) мочи, – все это явно не сон, а реальность, куда уж реальнее. И однако весь сегодняшний день – если это все еще тот же самый день, если время что-то означает – кажется сном. Несомненно, эта вещь, которую он сейчас в первый раз исследует под простыней, этот чудовищный

предмет, спеленатый в белое и прикрепленный к его бедру, явился прямо из страны снов. А как насчет другой вещи – той вещи, о которой с таким энтузиазмом говорил молодой человек в безумно сверкающих очках? Когда же появится она? Никогда в жизни он не видел протеза. Он мысленно рисует картинку: деревянное древко с крючком, как у гарпуна, и резиновыми присосками на трех маленьких ножках. Что-то сюрреалистическое. Как у Дали.

Он протягивает руку (три пальца забинтованы вместе) и нажимает на этот предмет в белом. Он ничего не чувствует – как будто дотронулся до деревяшки.

«Всего лишь сон», – говорит он себе и проваливается в глубочайший сон.

– Сегодня вы у нас должны походить, – говорит молодой доктор Ханзен. – Сегодня днем. Немножко, всего несколько шагов – просто чтобы вы получили об этом представление. Элейн и я будем рядом. – Он кивает сестре. Сестре Элейн. – Элейн, вы можете договориться с ортопедами?

– Сегодня я не хочу ходить, – возражает он. Он учится разговаривать со сжатыми зубами. Дело не только в ушибленной челюсти: с той стороны расшатались коренные зубы, и он не может жевать. – Я не хочу, чтобы меня торопили. Я не хочу протез.

– Чудесно, – соглашается доктор Ханзен. – В любом случае мы сейчас говорим не о протезе – это пока не к спеху, – а о реабилитации, о первом шаге к реабилитации. Но мы можем начать завтра или послезавтра. Просто чтобы вы поняли, что лишиться ноги – это еще не конец света.

– Позвольте мне повторить: я не хочу протез.

Доктор Ханзен и сестра Элейн обмениваются взглядами.

– Если вы не хотите протез, то что бы вы предпочли?

– Я предпочел бы сам о себе позаботиться.

– Хорошо, эта тема закрыта. Мы не станем вас торопить, обещаю. А теперь могу я побеседовать с вами о вашей ноге? Могу я рассказать вам о лечении этой ноги?

«О лечении моей ноги?»

Он заходится от ярости. Разве они не понимают?

«Вы дали мне наркоз, отрубили мою ногу и выбросили ее в мусорное ведро, чтобы кто-нибудь забрал ее и швырнул в огонь. Как же вы можете стоять здесь, рассуждая о лечении моей ноги?!»

– Мы натянули оставшийся мускул на конец кости, – объясняет доктор Ханзен, демонстрируя с помощью жестов, как именно они это проделали, – и зашили вот здесь. Мы хотим, чтобы, как только заживет рана, этот мускул образовал подушечку на кости. Из-за травмы и из-за лежания в постели будет тенденция к отеку и опухоли. Нам нужно что-то с этим делать. У мускула будет также тенденция сокращаться по направлению к бедру – вот так. – Он отходит в сторону и выпячивает зад. – Мы этому воспрепятствуем с помощью растягивания. Растягивание очень важно. Элейн покажет вам несколько упражнений для растягивания и поможет в случае необходимости.

Сестра Элейн кивает.

– Кто это со мной сделал? – спрашивает он. Он не может закричать из-за челюсти, но это даже к лучшему: ведь ему хочется скрежетать зубами от ярости. – Кто наехал на меня? – В глазах у него слезы.

Ночи бесконечны. Ему то слишком жарко, то слишком холодно. Нога под бинтами чешется, но до нее не добраться. Если затаить дыхание, то слышно, как бегают мурашки по его изуродованной плоти, когда она пытается срастись. За герметично закрытым окном что-то напевает сверчок. Сон налетает внезапно и очень недолог, словно это действие наркоза, который не до конца вышел из его легких.

И ночью и днем время еле тянется. Напротив кровати – телевизор, но его не интересуют ни телевизор, ни журналы, предоставленные каким-то сердобольным агентством («Кто», «Ярмарка тщеславия», «Австралийские дома и сады»). Он смотрит на циферблат своих часов, запоминая положение стрелок. Потом закрывает глаза, пытаясь думать о другом: о своем собственном дыхании, о своей бабушке, ощипывающей цыпленка, сидя за кухонным столом, о пчелах

среди цветов – словом, о чем угодно. Он открывает глаза. Стрелки даже не сдвинулись с места. Как будто они должны прокладывать себе путь сквозь клей.

Часы замерли, а время – нет. Даже лежа он чувствует, как время трудится над ним, словно изнурительная болезнь, словно негашеная известь, которой обливают трупы. Время вгрызается в него, пожирая одну за другой клетки, из которых он состоит. Его клетки угасают, как огоньки.

Таблетки, которые ему дают через каждые шесть часов, облегчают боль, что хорошо, а иногда он от них засыпает, что еще лучше. Однако от них путаются мысли, а сны наполняются паникой и ужасом, поэтому он неохотно принимает эти таблетки.

«Боль – ничто, – говорит он себе, – всего лишь сигнал тревоги, идущий от тела к мозгу. Боль ничуть не реальнее, нежели рентгеновский снимок».

Но он, конечно, не прав. Боль – это реальность, и он быстро в этом убеждается: один-два приступа – и он готов примириться с путаницей в мыслях и с дурными снами.

В его палату помещают еще одного пациента, человека постарше, чем он. Этого больного привезли сюда после операции на бедре. Он целый день лежит с закрытыми глазами. Время от времени две медсестры ставят ширмы вокруг его кровати и под их прикрытием проделывают необходимые процедуры.

Два пожилых человека, два старика в одинаковом положении. Сестры хорошие, они добрые и проворные, но за их деловитостью можно увидеть – он не ошибается, он слишком часто наблюдал это в прошлом – безразличие к его судьбе, а также к судьбе его товарища по палате. Он чувствует, что у молодого доктора Ханзена за доброжелательной озабоченностью кроется все то же безразличие. Как будто эти молодые люди, в обязанности которых входит заботиться о них, знают на каком-то подсознательном уровне, что этим старикам больше нечего дать племени и поэтому они не в счет.

«Так молоды и в то же время так бессердечны! – восклицает он про себя. – Как же это я попал к ним в руки? Лучше, когда за стариками ухаживают старики, а за умирающими – умирающие. И какое это безумие – быть таким одиноким в этом мире!»

Они беседуют с ним о его будущем, они заставляют его делать гимнастику, которая подготовит его к этому будущему, они гонят его из постели; но для него нет будущего, дверь в будущее закрыта. Если бы существовал какой-нибудь способ покончить с собой с помощью чисто мыслительного акта, он бы немедленно это сделал, без какой-либо суеты. В памяти у него полно историй о людях, которые покончили с собой: они методично оплачивают счета, пишут прощальные записки, сжигают старые любовные письма, прикрепляют ярлычки к ключам, а затем, как только все приведено в порядок, надевают свое лучшее воскресное платье и проглатывают таблетки, заготовленные для этого случая; потом они ложатся на аккуратно застеленную кровать и придают лицу подобающее выражение. Все они – герои, невоспетые, безвестные: «Я исполнен решимости не доставлять никаких хлопот». Единственный вопрос, который они не могут уладить, – это тело, остающееся после них, могильный холмик плоти, который через пару дней начинает издавать зловоние. Если бы только это было возможно, если бы только это было позволено, они бы отправились на такси в крематорий и, устроившись перед роковой дверью, проглотили свои таблетки и, пока еще не потускнело сознание, нажали бы на кнопку, которая отправила бы их в огонь и позволила вынырнуть на другом конце в виде горсточки пепла, почти невесомого.

Он убежден, что, если бы это было возможно, он покончил бы с собой прямо сейчас. Однако даже в тот момент, когда ему приходит в голову эта мысль, он знает, что не сделает ничего подобного. Ведь только боль и бесконечные бессонные ночи в больнице – этой зоне унижения, где не спрятаться от безжалостного взгляда молодых, – заставляют его желать смерти.

Смысл, заключенный в словах «холост, одинок, один», особенно четко доводят до него в конце второй недели пребывания в царстве белизны.

– У вас нет семьи? – осведомляется ночная сиделка Дженет, та, что позволяет себе добродушно подшучивать над ним. – У вас нет друзей? – Она морщит нос, когда говорит это, как будто он их всех разыгрывает.

– У меня вполне достаточно друзей, – отвечает он. – Я же не Робинзон Крузо. Просто я не хочу никого из них видеть.

– Если бы вы повидались с друзьями, то почувствовали бы себя лучше, – заявляет она. – Это подняло бы вам настроение. Я уверена.

– Я буду принимать посетителей, когда мне этого захочется, благодарю вас, – отвечает он.

Он по натуре не вспыльчив, но в этом учреждении он позволяет себе всплески раздражительности, обидчивости, желчности, потому что тогда от него скорее отстают. Он воображает, как Дженет защищает его перед своими коллегами: «В душе он не такой уж плохой».

«Этот старый хрыч!» – отвечают ее коллеги с презрительным фырканьем.

Он знает, что «теперь, когда ему лучше» от него ожидают, что эти молодые женщины вызовут у него непристойные желания – желания, которые у пациентов мужского пола независимо от их возраста проявляются в самый неподходящий момент и которые следует быстро и решительно искоренять.

Истина заключается в том, что у него нет подобных желаний. Душа у него чистая, как у ребенка. Разумеется, эта чистота помыслов не способствует его популярности среди сестер, да он и не рассчитывает на это. Роль распутного старого козла – это составляющая игры, играть в которую он отказывается.

А если он отказывается общаться с друзьями, то лишь оттого, что ему не хочется, чтобы они увидели его в этом новом, унизительном, состоянии. Но, конечно, люди так или иначе узнают о случившемся. Они посылают наилучшие пожелания, они даже заходят лично. По телефону можно довольно легко сочинить историю.

«Это всего лишь нога, – говорит он, надеясь, что на том конце провода не почувствуют горечи в его словах. – Я немного похожу на костылях, потом на протезе».

Когда его навещают, приходится несколько труднее, так как отвращение к этой громоздкой штуковине, которую ему отныне придется таскать с собой, слишком отчетливо написано у него на лице.

С самого начала этой истории, с инцидента на Мэгилл-роуд, и до настоящего момента он плохо себя проявил, он оказался не на высоте – это ясно. Ему представилась отменная возможность подать пример того, как с бодрым видом

принимать удары судьбы, а он ее отверг.

«Кто это со мной сделал?!»

Когда он вспоминает, как орал на, несомненно, весьма компетентного, хотя и довольно заурядного доктора Ханзена, как бы подразумевая: «Кто на меня наехал?» – но на самом деле имея в виду: «Кто имел наглость отрезать мне ногу?», – его заливает краска стыда. Он не единственный человек в мире, попавший в катастрофу, не единственный старик, очутившийся в больнице, на попечении у исполненных добрых намерений, но совершенно равнодушных молодых людей. Он лишился ноги – а что значит потеря ноги, если взглянуть на вещи в истинном свете? В истинном свете потеря ноги всего лишь репетиция потери всего. На кого он будет орать, когда настанет тот день? Кого станет обвинять?

Ему наносит визит Маргарет Маккорд. Маккорды – его самые старые друзья в Аделаиде. Маргарет огорчена, что так поздно узнала, и полна праведного гнева против того, кто сделал с ним такое.

– Я надеюсь, ты собираешься подать в суд, – говорит она.

– У меня нет подобного намерения, – отвечает он. – Слишком комично это бы прозвучало: «Я хочу, чтобы мне вернули ногу, в противном случае…» Я предоставляю заниматься этими вопросами страховой компании.

– Ты совершаешь ошибку, – возражает она. – Люди, которые водят машину, нарушая правила, должны получить хороший урок. Полагаю, тебе подберут протез. Сейчас делают такие чудесные протезы! Ты скоро будешь снова ездить на своем велосипеде.

– Я так не думаю, – говорит он. – С этой частью моей жизни покончено.

Маргарет качает головой.

– Какая жалость! – восклицает она. – Какая жалость!

Мило с ее стороны так говорить, размышляет он впоследствии.

«Дорогой Пол, бедняжка, как трудно тебе приходится – пройти через такое!» – вот что она имела в виду, и она знала, что он это поймет.

«Нам всем придется пройти через что-то в этом роде, – хотелось бы ему напомнить ей, – в конце».

Его удивляет, как быстро вопрос о том, чтобы починить ему ногу («Превосходно! – говорит доктор Ханзен, щупая культю пальцами с безупречно обработанными ногтями. – Она прекрасно срастается. Скоро вы станете прежним».), сменяется в больнице вопросом, как он справится (их словечко), когда его снова выпустят в мир.

Непристойно быстро – или ему так кажется – на сцене появляется социальный работник, миссис Путтс (или Пуц?).

– Вы еще молодой человек, мистер Реймент, Пол, – сообщает она ему бодрым тоном (наверное, так ее учили обращаться с пожилыми). – Вам захочется остаться независимым, и, разумеется, это хорошо, но довольно продолжительное время вам потребуется уход – специализированный уход, и мы поможем его организовать. Позже, даже когда вы станете подвижным, вам потребуется чья-либо помощь – нужен будет человек, который ходил бы за покупками, стряпал, убирал и все такое. У вас никого нет?

Он думает, потом качает головой.

– Нет, никого нет, – отвечает он, желая тем самым сказать – и надеется, что миссис Путтс понимает это, – что нет никого, кто счел бы своим конфуцианским долгом заботу о его потребностях, стряпню, уборку и всякое такое.

Но особенно его интересует то, как на самом деле миссис Путтс оценивает его состояние. Ведь она, должно быть, выслушала более честное мнение медиков, нежели то, которое они сообщили ему. Из этих откровенных бесед она явно сделала вывод, что даже позже ему потребуется чья-либо помощь.

Согласно его собственному взгляду на то, что будет потом, – взгляду, выработанному в более спокойные минуты, – он, калека (беспощадное слово, но к чему играть в прятки?), будет каким-то образом, с помощью костылей или чего-то аналогичного, передвигаться в этом мире; быть может, станет медлительнее,

чем прежде, но какое это теперь имеет значение – быстрее или медленнее? Однако они, по-видимому, придерживаются иного мнения. В их глазах он не из тех людей, кто, потеряв ногу, приспосабливается к новым обстоятельствам и справляется сам, – нет, он принадлежит к тем унылым типам, которые без профессиональной помощи кончают заведением для престарелых и инвалидов.

Если бы миссис Путтс была готова говорить с ним начистоту, и он бы поговорил с ней прямо.

«Я много размышлял над тем, как справиться со всем самому, – сказал бы он ей. – Я давным-давно подготовился. Даже если произойдет самое страшное, я смогу о себе позаботиться».

Но правила игры таковы, что им обоим затруднительно говорить начистоту. Если бы он, к примеру, рассказал миссис Путтс о тайном запасе сомнекса в шкафчике в ванной у него в квартире, то она, согласно правилам игры, вынуждена была бы принять меры, чтобы защитить его от самого себя.

Он вздыхает.

– С вашей точки зрения, с профессиональной точки зрения, миссис Путтс, Дорин, – говорит он, – какие шаги вы бы предложили?

– Вам нужно будет кого-нибудь нанять, – отвечает миссис Путтс, – предпочтительно частную сиделку – в общем, кого-то с опытом ухода за немощными. Разумеется, вы не немощны. Однако пока вы снова не станете мобильны, мы же не будем рисковать?

– Да, не будем, – соглашается он.

Уход за немощными. За хрупкими. Он никогда не считал себя таковым, пока не увидел рентгеновские снимки. Он просто не мог поверить, что паутинка костей, запечатленная на этих снимках, может удерживать его в вертикальном положении и позволяет ходить. Странно, что кости при этом не ломаются. Чем выше человек ростом, тем он более хрупкий. А он слишком высокий – и это плохо для него.

«Я никогда не оперировал такого высокого мужчину, – сказал доктор Ханзен, – с такими длинными ногами».

И залился краской, поняв, что допустил бестактность.

– Вы можете сказать навскидку, Пол, – спрашивает миссис Путтс, – включает ли ваша страховка уход за больным?

Сиделка, еще одна сиделка. Женщина в маленькой белой шапочке и удобных туфлях, которая будет хлопотать в его квартире, напоминая бодрым тоном: «Пора принять ваши пилюли, мистер Р.!»

– Нет, не думаю, что моя страховка это включает, – отвечает он.

– Что ж, в таком случае вам придется выделить на это определенную сумму, – говорит миссис Путтс.

Глава 3

«Фривольный». Как он напрягался в тот день на Мэгилл-роуд, чтобы вникнуть в это слово богов, напечатанное на их таинственной пишущей машинке! Вспоминая это, он может лишь улыбнуться. Как странно, как поистине наивно верить, что, когда придет время, тебе посоветуют привести свою душу в порядок! Разве в каком-то уголке Вселенной еще остались существа, которых интересует проверка баланса на смертном одре: дебет – в одной колонке, кредит – в другой?

Однако «фривольный» – неплохое слово, чтобы подвести итоги: каким он был до этого происшествия, а возможно, и сейчас таким остается. В течение своей жизни он не сделал ничего особенно дурного, но и хорошего не сделал. После него ничего не останется – даже наследника, который носил бы его имя. «Шел по жизни налегке» – так сказали бы о нем в былые времена: он блюл свои интересы, понемногу процветал, не привлекая к себе внимания. Если не осталось никого, кто мог бы объявить приговор по поводу такой жизни, если Великий Судия над всеми отказался от вынесения приговоров и удалился, чтобы

заняться своими ногтями, он объявит приговор сам: упущенный шанс.

Он никогда не думал, что у него найдется доброе слово о войне, но здесь, на больничной койке, когда он поглощает время и его самого поглощают, он, кажется, готов пересмотреть свое мнение. В стирании городов с лица земли, в разграблении сокровищ, в истреблении невинных, во всем этом безрассудном разрушении он начинает видеть определенную мудрость – как будто на самом глубинном уровне история знает, что делает. Долой старое, освободить дорогу для нового! Что может быть эгоистичнее, скареднее – это особенно его гложет, – нежели умереть бездетным, оборвав на себе линию, вычтя себя из великой работы поколений? Пожалуй, это похуже скаредности – это неестественно.

Накануне выписки к нему явился нежданный посетитель: парень, который его сбил. Уэйн… Как там дальше? Не то Брайт, не то Блайт. Уэйн пришел, чтобы узнать, как у него дела, но, выясняется, вовсе не для того, чтобы признать свою вину.

– Подумал, узнаю-ка я, как у вас дела, мистер Реймент, – говорит Уэйн. – Мне действительно жаль, что так вышло. Вот уж не повезло.

Да, он не речист, этот молодой Уэйн. Однако он выражается очень осторожно и уклончиво, как будто в палате полно «жучков». И действительно, как позже узнает Пол, отец Уэйна в течение всего визита подслушивает в коридоре. Несомненно, он заранее натаскивал Уэйна: «Будь почтителен с этим старым пидором, говори, что сожалеешь, но ни в коем случае не признавай, что ты сделал что-то не так».

Он вполне может себе представить, что говорят отец с сыном наедине о тех, кто разъезжает на великах по улицам, где оживленное движение. Но закон есть закон: даже глупые старые пидоры на великах имеют право на то, чтобы их не сбивали, и Уэйн с отцом это знают. Наверное, их пробирает дрожь при мысли о судебном иске, возбужденном им или его страховой компанией. Вероятно, именно поэтому Уэйн так осторожно подбирает слова.

«Вот уж не повезло». Он мог бы придумать множество ответов, начиная с: «Никакого отношения к везению, Уэйн, просто ты не умеешь водить машину». Но какой смысл сводить счеты с мальчишкой, который не в силах исправить то, что наделал? «Ступай и больше не греши» – вот лучшее, что он может сейчас

придумать. Стариковское нравоучение, над которым похихикают Блайты, отец и сын, по пути домой.

Несчастный случай: то, что происходит с кем-то, что-то непредусмотренное и неожиданное. Согласно этому определению, с ним, Полом Рейментом, несомненно, произошел несчастный случай. А как же с Уэйном Блайтом? Тоже несчастный случай? Что чувствовал Уэйн, когда автомобиль, который он вел в тумане громкой музыки, врезался в мягкую человеческую плоть? Вне всякого сомнения, сюрприз – непредусмотренный, однако в некотором смысле не такой уж неприятный. Можно ли действительно сказать, что то, что произошло на том злосчастном перекрестке, приключилось с Уэйном? Пожалуй, если что и приключилось, то это Уэйн с ним приключился.

Он открывает глаза. Уэйн все еще возле его кровати, на верхней губе – капельки пота. Конечно! Наверное, в школе Уэйну вбивали в голову, что нельзя выходить из класса, пока учитель не подал знак, что урок окончен. С каким облегчением, должно быть, вздохнул Уэйн, наконец-то освободившись от школы, учителей и всякого такого; он мог нажать на акселератор, почувствовать, как ветер свистит в опущенном окне, ощутить вкус жвачки, врубить на всю катушку музыку, орать: «Мать твою, приятель!» – старым хрычам, проносясь мимо них. А сейчас он стоит здесь, напряженный, с постным выражением лица, с извиняющимся видом подыскивая слова.

Итак, головоломка решается сама собой. Уэйн ждет знака, а он хочет, чтобы Уэйн удалился из его жизни.

– Мило с твоей стороны, что ты зашел, парень, – говорит он, – но у меня болит голова, и мне нужно поспать. Так что до свидания.

Глава 4

Дневную сестру, которую рекомендовала миссис Путтс, зовут Шина. На вид Шине лет девятнадцать, но, согласно документам, ей двадцать девять. Она толстая – это тяжелая, самоуверенная полнота, – и она несокрушимо добродушна. Шина сразу же ему не понравилась, она ему не нужна, но миссис Путтс настаивает.

– Тут нужен специалист по уходу, – говорит миссис Путтс. – Шина уже работала с теми, у кого ампутирована рука или нога. С вашей стороны было бы глупо отказаться от нее.

И он уступает. В свою очередь миссис Путтс тоже идет на уступки и соглашается, что ему не нужна ночная сестра, если он зарегистрируется в неотложной помощи и постоянно будет держать под рукой пейджер.

Он старается расположить к себе миссис Путтс, поскольку, как ему кажется, имеет точное представление о ее возможностях. Миссис Путтс – часть системы социального обеспечения. Социальное обеспечение означает заботу о людях, которые не в состоянии позаботиться о себе. Если миссис Путтс вдруг решит, что он не способен о себе позаботиться, что его нужно защитить от его собственной некомпетентности, где он будет искать помощи? У него нет союзников, которые стали бы за него сражаться. У него есть только он сам.

Возможно, он переоценивает заботу миссис Путтс. Что касается социального обеспечения, что касается ухода и профессий, связанных с уходом, он, несомненно, не в курсе положения дел в этой области на текущий момент. В прекрасном новом мире, в котором возродились и он, и миссис Путтс, паролем в котором является «Laissez faire!»[1 - Наплевать! (фр.)], миссис Путтс, быть может, не считает себя сторожем ни Пола, ни брата своего – вообще ничьим сторожем. Если в этом новом мире калеки, или немощные, или нищие, или бездомные хотят есть из мусорных баков или улечься спать в ближайшей канаве – на здоровье! И если они проснутся на следующее утро живыми – значит, им повезло.

Когда его доставляют домой в карете «Скорой помощи», Шина уже ждет его там. Именно она заново обустраивает для него спальню, присматривает за уборщицей, руководит мастером, указывая, где установить рейки, и вообще контролирует все. Она уже составила расписание на каждый день для них двоих, куда входят трапезы, гимнастика и то, что она называет УК – уход за культей. Что касается последнего, то она прикрепила на стенку у него над головой график, состоящий из трех пунктов: раннее утро, полдень и день. Этот график озаглавлен «Время личного УК». Именно в это время она удаляется на кухню, чтобы подкрепиться. Она держит свои припасы в холодильнике, на полке, к которой прикреплен ярлычок: «Личный УК». Чтобы не умереть от скуки, она включает на кухне радио – слушает станцию, которая передает

оглушительную рекламу вперемежку с музыкой, бьющей по ушам. Когда он просит убавить звук, она убавляет, но все равно он явственно все слышит.

Первой проверкой его физических возможностей была попытка воспользоваться туалетом, причем Шина поддерживала его за локоть. Попытка сесть окончилась крахом: левая нога – единственная оставшаяся у него – такая слабая, словно сделана из пластилина. Шина поджимает губы.

– Немедленно в кровать, – командует она, – я принесу вам горшочек.

Она называет ночной горшок горшочком; она называет его пенис мальчиком. Когда она обтирает его губкой, то перед тем, как заняться культей, делает паузу, а затем продолжает детским голоском:

– А теперь, если он хочет, чтобы Шина вымыла его мальчика, он должен хорошенько попросить. А то он еще подумает, будто Шина – одна из тех скверных девочек. – И она слегка шлепает его, чтобы дать понять: это всего лишь шутка.

Он терпит Шину до конца недели, потом звонит миссис Путтс.

– Я собираюсь попросить Шину больше не приходить, – сообщает он. – Я ее не выношу. Вам придется подыскать мне кого-нибудь другого.

Однако выясняется, что отделаться от Шины не так-то просто. Чтобы умилостивить ее профессиональную гордость, ему приходится раскошелиться и выплатить ей двухмесячное жалованье. Интересно, как часто за свою карьеру сиделки она совершала столь удачные сделки? Возможно, радио всего лишь трюк, чтобы взбесить его, да и детский голосок тоже.

После Шины за ним ухаживают сестры из агентства, которые сменяют одна другую, приходя на один-два дня. Они называют себя temps.

– Не можете ли вы найти мне кого-нибудь постоянного? – спрашивает он миссис Путтс по телефону.

– Это ужасно трудно, – отвечает миссис Путтс. – Сейчас огромный спрос на уход за немощными. Потерпите немного, вы у меня первый в списке.

Его радостное настроение оттого, что он вырвался из больницы, скоро сменяется унынием, которое не покидает его. Ему не нравится ни одна из temps: не нравится, когда с ним обходятся как с ребенком или идиотом, не нравится бодрый голос, которым они к нему обращаются.

«Ну как у нас сегодня дела?» – спрашивают они.

«Хорошо», – говорят они, даже когда он не считает нужным ответить.

«Когда же нам подберут нашу ногу? – осведомляются они. – Это гораздо лучше, чем костыли; новая нога правда лучше, как только вы с ней освоитесь. Вот увидите».

Раньше он был раздражительным, теперь становится угрюмым. Он хочет, чтобы его оставили в покое, у него нет желания ни с кем говорить; он страдает от приступов того, что называет сухим плачем.

«Если бы я мог по-настоящему заплакать! – думает он. – Если бы я мог омыться в слезах!»

Он радуется, когда в какие-то дни по той или иной причине никто не приходит за ним ухаживать – даже если он вынужден обходиться печеньем и апельсиновым соком.

Он объясняет свое мрачное настроение тем, что принимает болеутоляющее. Что хуже – уныние или боль в кости, от которой он не спит всю ночь? Он пытается обойтись без таблеток, игнорируя боль. Но мрачный настрой не проходит. Кажется, так будет всегда.

В прежние времена, до несчастного случая, он не был склонен хандрить. Возможно, он был одинок, но только в том смысле, как бывают одиноки некоторые самцы животных. У него было полно занятий. Он брал книги в библиотеке, ходил в кино; сам себе готовил, даже пек хлеб; у него не было автомобиля – он ездил на велосипеде или ходил пешком. Если такой образ

жизни и делал его эксцентричным, то это была эксцентричность в самых умеренных австралийских пределах. Он был высоким, мускулистым, он сохранил определенную силу и выносливость; он был мужчиной того типа, который может дожить до девяноста с лишним лет – при всей своей эксцентричности.

Ну что же, возможно, он еще и доживет до девяноста лет, но, если это случится, он будет не так уж рад. Он потерял свободу передвижения, и было бы глупо полагать, что она когда-нибудь к нему вернется – с искусственными конечностями или без оных. Он никогда больше не поднимется на Черную гору, никогда не поедет на велосипеде за покупками, и уж, конечно, никогда не устремиться ему на своем велосипеде вниз по крутым изгибам Монтакьют. Вселенная сжалась до размеров его квартиры и пары кварталов вокруг, и больше ей уже не расшириться.

Ограниченная жизнь. Что бы сказал об этом Сократ? Может ли жизнь стать такой ограниченной, что не стоит жить дальше? Люди выходят из тюрьмы, где годами созерцали одну и ту же глухую стену, но их душой не завладело уныние. Потерять конечность – что тут такого особенного? Жираф, потерявший ногу, обязательно погибнет; но у жирафов нет воплощенных в миссис Путтс агентств современного государства, которые заботятся об их социальном обеспечении. Почему бы ему не настроиться на умеренно ограниченную жизнь в городе, который не так уж негостеприимен по отношению к беспомощным престарелым?

Он не может дать ответы на подобные вопросы. Он не может дать ответы, потому что не в настроении отвечать. Вот что такое быть мрачным: на уровне, который гораздо ниже игры и сверкания интеллекта («Почему не это? Почему не то?»), он, он, тот он, которого он иногда называет ты, иногда я, вполне готов обнять мрак, покой, тишину, угасание. Он: не тот, чей ум привык метаться из стороны в сторону, а тот, кто мучается всю ночь от боли.

Конечно, в его случае нет ничего особенного. Люди каждый день теряют конечности или способность пользоваться конечностями. В истории полно одноруких моряков и прикованных к инвалидному креслу изобретателей, а также слепых поэтов и безумных королей. Но в данном случае ампутация провела такую четкую границу между прошлым и будущим, что слово «новая» приобрело новое значение. Да, ампутация ознаменовала начало новой жизни. Если до сих пор ты был человеком, с человеческой жизнью, отныне быть тебе собакой, с собачьей жизнью. Вот что говорит голос, голос из темной тучи.

Он сдался? Он хочет умереть? Нет. Вопрос неправильный. Он не хочет резать себе вены, не хочет глотать двадцать четыре таблетки сомнекса, не хочет бросаться вниз с балкона. Он не хочет умирать, потому что не хочет ничего. Но если случится так, что Уэйн Блайт врежется в него второй раз и он снова полетит по воздуху с величайшей легкостью, то уж постарается не спастись. Он не станет кувыркаться от удара, не попытается подняться на ноги. И если у него будет последняя мысль, если хватит времени на последнюю мысль, то это будет просто: «Итак, вот какова последняя мысль».

«Ненатянутый»: это слово приходит к нему из Гомера. Копье сотрясает грудину, хлещет кровь, конечности не натянуты, как тетива, тело опрокидывается, как деревянная марионетка. Итак, его конечности не натянуты, а теперь и дух тоже. Его дух готов опрокинуться.

Вторую кандидатку от миссис Путтс на постоянную работу зовут Марияна. По происхождению она хорватка – так она сообщает ему во время их первой беседы. Она покинула родину двенадцать лет назад. Обучалась в Германии, в Билефельде. Прибыв в Австралию, получила южноавстралийское удостоверение. Кроме ухода за больными она занимается и домашним хозяйством – как она сказала, за «дополнительную плату». Ее муж работает на заводе, где собирают автомобили. Они живут в Мунно-Пара, к северу от Элизабет, оттуда полчаса езды до города. Их сын учится в средней школе, дочь – в младших классах, а третий ребенок в школу еще не ходит.

Марияна Йокич – женщина с желтоватым цветом лица; она не достигла еще средних лет, но раздалась в талии, и это придает ей вид матроны. На ней небесно-голубая форма, на которой после всей этой белизны глаз отдыхает, под мышками – влажные пятна. Она бегло говорит на австралийском варианте английского со славянским акцентом и не очень тверда в употреблении определенного и неопределенного артиклей. Речь ее сдобрена сленгом, который она, должно быть, подцепила у своих детей, а те – у одноклассников. Ему не приходилось встречаться с подобным вариантом языка, но ее речь нравится.

Соглашение, достигнутое между ним и миссис Йокич при посредничестве миссис Путтс, заключается в том, что она будет посещать его шесть дней в неделю, с понедельника по субботу, осуществляя за ним уход в полной мере. По воскресеньям он будет прибегать к службе неотложной помощи. До тех пор пока его возможности передвижения остаются ограниченными, она будет не только ухаживать за ним, но и заботиться о его каждодневных бытовых нуждах, то есть

ходить за покупками, стряпать для него и делать небольшую уборку.

После неудачи с Шиной он не возлагает особых надежд на леди с Балкан. Однако вскоре он вынужден признать, что рад ее появлению. Миссис Йокич, Марияна, по-видимому, интуитивно понимает, к чему он готов, а к чему – нет. Она обращается с ним не как с выжившим из ума старым идиотом, а как с человеком, ограниченным в движениях из-за травмы. Терпеливо, без детского сюсюканья она помогает ему при омовениях. Когда он говорит, что хочет, чтобы его оставили одного, она удаляется.

Он сидит, откинувшись назад; она разбинтовывает культю и проводит по ней пальцем.

– Хорошие швы, – говорит она. – Кто накладывал швы?

– Доктор Ханзен.

– Ханзен. Не знаю Ханзена. Но сделано хорошо. Хороший хирург. – Она оценивающе взвешивает культю на руке, словно это арбуз. – Хорошая работа.

Она намыливает культю и смывает мыло. От теплой воды культя розовеет и теперь уже меньше походит на обрубок – скорее на глубоководную рыбу; он отводит глаза.

– Вам часто приходится видеть плохую работу? – спрашивает он.

Она поджимает губы и разводит руки – жест, который напоминает ему о его матери.

«Может быть, – говорит этот жест, – как сказать».

– Вы часто видите… такое? – Он слегка дотрагивается пальцами до культи.

– Конечно.

Он отмечает про себя, что их беседа начисто лишена двойного смысла.

Про себя он не называет ее культей. Ему бы хотелось никак ее не называть, вообще о ней не думать, но это невозможно. Если он как-то ее и называет, то только le jambon[2 - Ветчина (фр.).]. Выказывая таким образом свое презрение, он держит хорошую дистанцию.

Он делит людей, с которыми поддерживает контакт, на два класса: те немногие, кто ее видел, и остальные, кто, к счастью, никогда ее не увидит. Как жаль, что Марияна так рано и так решительно попала в первый класс.

– Я все-таки не могу понять, почему нельзя было оставить колено, – жалуется он ей. – Ведь кость срастается. Даже если был поврежден сустав, они могли сделать попытку восстановить его. Если бы я знал, какая это большая разница – сохранить или потерять колено, то никогда не согласился бы. Но они мне ничего не сказали.

Марияна качает головой.

– Для этого потребовались бы очень сложные хирургические операции, – объясняет она. – Очень сложные. Потребовались бы целые годы – в больнице и дома. Знаете, когда пациенты старые, врачи не любят заниматься восстановлением. Только для молодых. Какой смысл? Да? Какой смысл?

Она относит его к старикам – к тем, которых нет смысла спасать (спасать коленный сустав, спасать жизнь. Интересно, думает он, а куда она относит себя – к молодым? к старым? к тем, кто не молод и не стар? к тем, кто никогда не состарится?).

Ему редко приходилось видеть, чтобы кто-нибудь настолько скрупулезно исполнял свои обязанности, как Марияна. Список, с которым она идет за покупками, он получает обратно с приколотыми к нему чеками, и возле каждого пункта поставлена галочка. Там, где что-то пришлось заменить, это помечено ее аккуратным почерком. Все, что она стряпает, всегда очень аппетитно.

Когда по телефону звонят друзья, чтобы узнать, как у него дела, он называет Марияну просто дневной сестрой.

«Я нанял очень квалифицированную дневную сестру, – говорит он. – Она еще и за покупками ходит, и стряпает».

Он не называет ее Марияной, опасаясь, как бы это не показалось фамильярным. Беседуя с ней, он продолжает называть ее миссис Йокич, так же как она называет его мистер Реймент. Но наедине с собой он называет ее Марияной. Ему нравится это имя из четырех бескомпромиссных слогов.

«Утром здесь будет Марияна, – говорит он себе, когда чувствует, что снова надвигается мрачная туча. – Возьми себя в руки!»

Он еще не знает, нравится ли ему Марияна как женщина в той же степени, как нравится ее имя. Если быть объективным, нельзя сказать, что она непривлекательна. Но в его присутствии она кажется начисто лишенной сексуальности. Она проворна, она деловита, она бодра – вот какие свойства демонстрирует Марияна перед ним, своим работодателем, вот за что он платит и чем должен довольствоваться. Итак, он перестает раздражаться, он встречает ее с улыбкой. Ему бы хотелось, чтобы она думала, что он стойко переносит свое несчастье; ему бы хотелось, чтобы она была о нем высокого мнения. Она не флиртует, и это его устраивает. Это лучше, чем игривый разговор о его «мальчике».

Иногда по утрам она приводит с собой своего младшего ребенка – ту девочку, которая еще не ходит в школу. Хотя она родилась в Австралии, зовут ее Люба, Любица. Ему нравится это имя, он его одобряет. По-русски, если он не ошибается, это слово означает «любовь». Это все равно что назвать девочку Aimйe[3 - Любимая (фр.).] или даже лучше – Amour[4 - Любовь (фр.).].

Она рассказывает ему, что ее сыну, первенцу, только что исполнилось шестнадцать. Шестнадцать. Наверное, она вышла замуж молодой. Он как бы заново оценивает ее. Да, ее не только нельзя назвать непривлекательной – порой она определенно красива. Это хорошо сложенная женщина с волосами орехового цвета, темными глазами и скорее оливковым, нежели желтоватым цветом лица. Она держится с достоинством, плечи выпрямлены, грудь вперед. У нее горделивая осанка – находит он слово, характеризующее ее. Единственный ее недостаток – зубы, слегка пожелтевшие от никотина. Она курит, но не в комнате: ради него она выходит на балкон.

Что касается маленькой девочки, то это настоящая красавица, с темными локонами, идеальной кожей и глазами, в которых сверкает живой ум. Когда эти двое рядом, на них можно любоваться, как на прелестную картинку. Они отлично ладят друг с другом. Когда Марияна стряпает, она учит дочку печь имбирные пряники и печенье. Из кухни доносятся их негромкие голоса. Мать и дочь: этикет женственности передается из поколения в поколение.

Глава 5

Проходят недели. Он привыкает к режиму, установленному Марияной. Каждое утро он делает под ее присмотром гимнастику, потом она массирует его мышцы, ставшие дряблыми. Она ненавязчиво помогает ему в том, с чем бы сам он не справился, что никогда не научился бы делать без посторонней помощи. Когда он в настроении слушать, она охотно рассказывает о своей работе, о впечатлениях от Австралии. Когда он уходит в себя, она тоже не против того, чтобы помолчать.

Любовь, которую он когда-то, быть может, питал к своему телу, давно ушла. Ему неинтересно восстанавливать его, доводить до какого-то идеального состояния. Тот человек, каким он был когда-то, – всего лишь воспоминание, а воспоминания быстро угасают. У него такое чувство, что душа осталась и по-прежнему живет полной жизнью; что до остального, то это всего-навсего мешок с костями и кровью, который приходится таскать за собой.

В таком состоянии есть искушение забыть о всякой скромности. Но он противится этому искушению. Он делает все, что в его силах, чтобы соблюсти приличия, и Марияна его поддерживает. Когда приходится обнажаться, он отводит взгляд, чтобы Марияна видела, что он не видит, что она его видит. И она прилагает все усилия, чтобы то, что должно происходить не на глазах, так и происходило.

При всем том он старается остаться мужчиной – пусть и мужчиной с ограниченными возможностями; совершенно ясно, что Марияна понимает и сочувствует.

Откуда у нее эта деликатность, удивляется он, деликатность, которой столь явно не хватало ее предшественницам? Научилась этому в Билефельде, в медицинском колледже? Может быть. Но ему кажется, что эта деликатность имеет гораздо более глубокие истоки.

«Приличная женщина, – говорит он себе, – приличная во всем».

Лучшее из того, что с ним случилось, – это появление в его жизни Марияны Йокич.

– Скажите, если будет больно, – говорит она, дотрагиваясь большими пальцами до его непристойно укороченных мышц бедра. Но ему никогда не бывает больно, а если и бывает, то эта боль так похожа на удовольствие, что он не чувствует разницы.

«Интуиция», – думает он.

По-видимому, она чисто интуитивно знает, как он себя чувствует, как откликнется его тело.

Мужчина и женщина за запертыми дверями в теплый полдень. Они вполне могли бы заниматься сексом. Но тут нет ничего подобного. Это всего лишь медицинский уход.

На ум ему приходит фраза из катехизиса, который он учил в школе полвека тому назад: «И не будет более ни мужчины, ни женщины, но…» Но чем, чем мы будем, когда выйдем за пределы мужчины и женщины? Смертным не дано это постичь. Одна из тайн.

Эти слова принадлежат святому Павлу, он в этом уверен, – святой Павел его тезка, его святой. Они объясняют, какой станет загробная жизнь, когда все будут любить всех чистой любовью, как любит Бог, только не так яростно, не так всепоглощающе.

Увы, он пока что не дух, но мужчина какого-то типа – того типа, которому не удается выполнить то, для чего мужчина приходит в мир: найти свою половинку, прилепиться к ней и благословить ее своим семенем – семенем, которое в

аллегории брата Алоизиуса представляет Слово Божье. Мужчина, который не до конца мужчина, – значит, полумужчина, послемужчина, подобно послесвечению; призрак мужчины, с сожалением оглядывающийся на время, которое не использовал должным образом.

У его дедушки и бабушки Реймент было шестеро детей. У его родителей – двое. У него – ни одного. Шесть, два, один или ни одного; он видит, как вокруг него повсюду повторяется эта печальная последовательность. Раньше он думал, что это разумно: в перенаселенном мире бездетность, несомненно, является добродетелью, подобно миролюбию, подобно воздержанности. А вот теперь, напротив, бездетность кажется ему безумием, стадным безумием, даже грехом. Что может быть лучше, нежели новые жизни, новые души? Каким же образом наполнятся небеса, если земля прекратит отправлять свой груз?

Когда он прибудет к вратам, святой Павел (для других новых душ это может быть Петр, но для него это будет Павел) будет его ждать.

«Благослови меня, отец, ибо я согрешил», – скажет он.

«А как же ты согрешил, дитя мое?»

И тогда у него не найдется слов – он лишь покажет свои пустые руки.

«Ты несчастный парень, – скажет Павел, – несчастный, несчастный парень. Разве ты не понял, для чего тебе была дана жизнь – величайший дар из всех?»

«Когда я жил, то не понимал, отец, но теперь понимаю – теперь, когда уже слишком поздно; и поверь мне, отец, я раскаиваюсь, я сожалею, je me repйre[5 - Я раскаиваюсь (фр.).], причем горько».

«Тогда проходи, – скажет Павел и отступит в сторону, – в доме Отца твоего найдется место для всех, даже для глупой одинокой овечки».

Марияна наставила бы его на путь истинный, если бы только он ее вовремя встретил, – Марияна из католической Хорватии. Двое, Марияна и ее супруг, породили троих – три души для небес. Женщина, созданная для материнства. Марияна спасла бы его от бездетности. Марияна могла бы воспитать шесть,

десять, двенадцать, и у нее бы еще остались запасы любви, материнской любви. Но теперь слишком поздно. Как жаль, как жаль!

Глава 6

Он вышел из больницы с парой костылей и какой-то штукой, которую они называли рамой Циммера, – алюминиевые ходунки на четырех ножках, ими можно пользоваться дома. Это приспособление дали на время; его нужно будет вернуть, когда отпадет необходимость, то есть когда он сможет передвигаться свободнее либо скончается.

Есть и другие устройства (о них рассказывается в брошюре), начиная с колес и тормоза для рамы Циммера и кончая средством передвижения с мотором, питающимся от батареек, с рулем и съемным верхом на случай дождя – оно предназначено для инвалидов со стажем. Однако если он пожелает что-нибудь из этих устройств, ему придется платить самому.

При помощи Марияны то, что она любит называть его ногой, с каждым днем приобретает все более нормальный цвет и уже не кажется таким распухшим, как прежде. Костыли становятся второй натурой, хотя он и чувствует себя в большей безопасности, пользуясь ходунками. Когда он предоставлен сам себе, то передвигается из комнаты в комнату на костылях, полагая, что это упражнение, хотя на самом деле это всего лишь проявление беспокойства.

Раз в неделю он приезжает в больницу на осмотр. В одно из таких посещений он попадает в лифт вместе со старухой – горбатой, с ястребиным носом и смуглой кожей. За руку она держит свою копию, только помоложе – тонкокостную, почти такую же смуглую, в широкополой шляпе и солнечных очках, таких огромных, что они скрывают всю верхнюю часть лица. Он стоит, прижатый к той женщине, что помоложе, и, прежде чем они выходят, успевает вдохнуть сильный аромат гардении – ее духов – и заметить, что, как ни странно, платье на ней надето наизнанку, так что рекомендации относительно сухой чистки торчат, словно маленький флажок.

Час спустя, направляясь к выходу из здания, он снова замечает эту парочку – они сражаются с вращающейся дверью. Когда он сам выходит на улицу, то видит

только широкополую черную шляпу, мелькающую в толпе.

Их образ остается с ним: старая карга, ведущая принцессу, которая оделась впопыхах и бредет в зачарованном сомнамбулическом сне. Быть может, недостаточно молода для роли принцессы, но тем не менее привлекательна: с мягкой плотью и большой грудью, миниатюрная. В его воображении это женщина того типа, что дремлет до полудня, а затем завтракает конфетами, которые ей подносит на серебряном блюде маленький мальчик-раб в тюрбане. Что же такое она сделала со своим лицом, если ей приходится его прятать?

Это первая женщина, вызвавшая у него сексуальный интерес с тех пор, как произошел несчастный случай. Ему снится сон, в котором она каким-то образом присутствует, хотя и не обнаруживает себя. В полной тишине в земле открывается трещина и устремляется к нему. Две огромные волны пыли вздымаются в воздух. Он пытается бежать, но ноги его не слушаются.

«Помогите!» – шепчет он.

Черными невидящими глазами старуха, эта старая карга, пристально смотрит на него и сквозь него. Она снова и снова бормочет слово, которое он не до конца улавливает, что-то вроде «Toomderoom». Земля у него под ногами разверзается, он проваливается.

Звонит Маргарет Маккорд. Извиняется, что исчезла: она уезжала из города. Может ли она вывезти его на ланч, скажем, в воскресенье? Они могли бы отправиться в Баросса-Вэлли. К сожалению, ее муж не сможет к ним присоединиться, он за границей.

Он бы с радостью, отвечает он, но, увы, долгие поездки в автомобиле для него – сущее мучение.

– Тогда я просто заскочу к тебе? – говорит она.

Много лет тому назад, после его развода, у них был легкий флирт. Как утверждает Маргарет, которой он не очень-то верит, ее муж ничего не знает о том, что они были в близких отношениях.

– Почему бы и нет, – отвечает он. – Приезжай в воскресенье, к обеду. У меня есть превосходные каннелони, приготовленные моей помощницей.

Они обедают на балконе. Вечер довольно прохладный; птицы перекликаются, перед тем как совсем угомониться. На столе мерцают свечи. Они ощущают некоторую скованность: то, что когда-то было между ними, ничуть не забыто. Маргарет не упоминает об отсутствующем муже.

Он рассказывает Маргарет о временах правления Шины; рассказывает о миссис Путтс, социальном работнике, которая подготовила его ко всем аспектам жизни после жизни, кроме секса. Ей не позволила обсуждать эту тему ее скромность, а быть может, она сочла ее неуместной для мужчины его возраста.

– А она неуместна? – спрашивает Маргарет. – Если честно?

Если честно, отвечает он, то пока трудно сказать. Он не лишен возможности заниматься сексом, если она об этом. Его позвоночник не поврежден, как и соответствующие нервные окончания. Однако пока неясно, сможет ли он делать движения, необходимые для активного партнера в паре, занимающейся сексом. Второй вопрос, на который пока что тоже нет ответа, – не перевесят ли смущение и стыд удовольствие.

– Мне кажется, – рассуждает Маргарет, – что при данных обстоятельствах тебя можно было бы освободить от роли активного партнера. Что касается твоего второго вопроса без ответа, то как же ты узнаешь, пока не попробуешь? Но с какой стати тебе смущаться? У тебя же не проказа! Тебе лишь ампутировали ногу. Это может быть довольно романтично. Вспомни обо всех этих фильмах про войну: мужчины возвращаются с фронта с повязкой на глазах, или с пустым рукавом, приколотым к груди, или на костылях. Женщины просто с ума из-за них сходили.

– «…лишь ампутировали ногу», – повторяет он.

– Да. Ты стал жертвой несчастного случая. В этом нет ничего постыдного, ничего, заслуживающего порицания. После этого тебе ампутировали ногу. Часть ноги. Часть глупой части тела. Вот и все. У тебя же осталось твое здоровье. Ты – это все еще ты. Ты тот же красивый, здоровый мужчина, каким был всегда. –

Маргарет одаряет его улыбкой.

Они могли бы проверить это прямо сейчас, в спальне, они вдвоем, – проверить, тот ли это мужчина, каким он был всегда; проверить, может ли удовольствие, даже при отсутствии части тела, перевесить свою противоположность. Маргарет была бы не против, он в этом уверен. Но момент упущен, они им не воспользовались, чему он позже, оглядываясь назад, будет рад. Ему не улыбается становиться объектом сексуальной благотворительности какой-либо женщины, пусть даже самой доброжелательной. Ему не хочется обнажаться под взглядом постороннего, даже если это старинный друг, даже если она заявляет, что находит людей с ампутированными конечностями романтичными. Да, ему не хочется демонстрировать ей свое некрасивое новое тело – не только укороченное бедро, но и дряблые мускулы, а также непристойное маленькое брюшко. Если он когда-нибудь еще ляжет с женщиной в постель, то позаботится о том, чтобы это было в темноте.

– У меня была гостья, – сообщает он Марияне на следующий день.

– Да? – говорит она.

– Могут быть и другие гости, – мрачно продолжает он. – Я имею в виду женщин.

– Чтобы жить с вами? – спрашивает Марияна.

Жить с ним? Эта мысль никогда не приходила ему в голову.

– Разумеется, нет, – отвечает он. – Просто друзья, женщины-друзья.

– Это хорошо, – говорит она и включает пылесос.

Марияне, судя по всему, совершенно безразлично, принимает ли он у себя женщин. Ее не касается, чем он занят в свободное время. Да и в любом случае – чем он может быть занят?

В отличие от Маргарет Марияна никогда не видела его таким, каким он был прежде. Для нее он просто ее последний клиент – пожилой мужчина с бледной

кожей и дряблыми мускулами, передвигающийся на костылях. Но он все равно ощущает стыд в присутствии Марияны, а также в присутствии ее дочери – как будто цветущее здоровье матери и ангельская чистота дочери совместно выносят ему приговор. Он избегает взглядов ребенка, укрываясь в своем кресле в углу гостиной, словно квартира принадлежит этим двум женщинам, а он какой-то вредитель, какой-то грызун, пробравшийся сюда.

Визит Маргарет порождает серию грез о женщинах. Все эти грезы имеют сексуальную окраску; в некоторых из них он и женщина доходят до того, что укладываются в постель. В этих снах не упоминается о его новом, изменившемся теле, его даже не видно. Все хорошо, все так, как было раньше. Но женщина, которая с ним, – не Маргарет. Почти всегда это женщина, которую он видел в лифте, та, в темных очках и платье, надетом наизнанку.

«Ваше платье, – говорит он ей, – позвольте мне помочь вам надеть его правильно».

Она поднимает руку, чтобы снять очки.

«Хорошо», – отвечает она.

Голос у нее тихий, глаза – темные омуты, в которые он ныряет.

Глава 7

На службе Марияна не носит сестринскую шапочку, она надевает на голову косынку, как хорошая балканская домашняя хозяйка. Ему нравится эта косынка, как нравится любой намек на то, что она не до конца сбросила с себя Старый Свет в угоду Новому.

За исключением кое-кого из военных преступников и высокого теннисиста с великолепной подачей, имя которого выпало у него из памяти (Илия? Илич? Роман Илич?), он не знает никого из хорватов. Югославы – другое дело. Он сталкивался, пожалуй, с дюжиной югославов в дни, когда еще были югославы; но, конечно, ему никогда не приходило в голову спросить, к какой группе

югославов они принадлежат.

Как именно вписывается Марияна в картину Югославии, точнее – Марияна и ее муж, занимающийся сборкой автомобилей? От чего они сбежали, когда покинули свою страну? А может быть, они просто устали от борьбы и, упаковав свои пожитки, пересекли границу в поисках лучшей, более мирной жизни? А уж если лучшую, более мирную жизнь не найти в Австралии, то где же ее вообще можно найти?!

Марияна рассказывает ему о своем сыне, которого зовут Драго, – приятели называют его Джаг. Ему только что исполнилось шестнадцать, и ее муж купил Драго на день рождения мотоцикл. По мнению Марияны, это большая ошибка. Теперь Драго никогда не бывает дома по вечерам, он не делает уроки и пропускает ужин. Он со своими приятелями гоняет на мотоцикле по проселочным дорогам, бог знает что вытворяя. Она боится, что он сломает ногу или руку, а может произойти и что-нибудь похуже.

– Ваш сын – молодой человек, – говорит он Марияне. – Он себя испытывает. Вы не можете помешать молодым людям проверить, каков предел их возможностей. Они хотят быть самыми быстрыми. Они хотят быть самыми сильными. Они хотят, чтобы ими восхищались.

Он никогда не видел Драго и, вероятно, никогда не увидит. Но ему нравится, как о нем рассказывает Марияна, нравится ее бесхитростность; она слишком хорошо воспитана, чтобы хвастаться своим мальчиком, поэтому жалуется на его непокорность, его бесшабашность, его joie de vivre[6 - Букв. радость жизни (фр.).], на то, что он ее замучает.

– Если вы хотите хорошенько напугать Драго, – предлагает он шутливо, – приведите его как-нибудь сюда. Я покажу ему свою ногу.

– Вы думаете, он станет слушать, мистер Реймент? Он скажет, что это пустяк, всего лишь несчастный случай с велосипедом.

– Я также покажу ему, что осталось от велосипеда.

Велосипед все еще хранится у него в кладовке: заднее колесо сложилось пополам, цепь запуталась в спицах. Его никто не украл в тот день на Мэгилл-

роуд, хотя велосипед пролежал у обочины до вечера. Потом его подобрала полиция. Они забрали и пластиковую коробку, привязанную к нему, вместе с частью покупок, сделанных утром: банкой горошка, на которой была вмятина, куском сыра бри, который растаял на солнце, а потом затвердел. Он сохранил банку в качестве напоминания – memento mori[7 - Помни о смерти (лат.).]. Она на полке у него в кухне. Он покажет эту банку Драго, говорит он Марияне. «Представь себе, что это был твой череп», – скажет он мальчику. А затем: «Подумай о своей маме. Она беспокоится о тебе. Она хорошая женщина. Она хочет, чтобы у тебя была долгая и счастливая жизнь». А может быть, он не скажет фразу насчет того, что она хорошая женщина. Если ее сын этого не знает, то уж и не ему говорить парню об этом. Кто он такой – просто чужой человек!

На следующий день Марияна приносит фотографию: Драго стоит рядом с пресловутым мотоциклом. На нем сапоги и джинсы в обтяжку, под мышкой – шлем с эмблемой в виде молнии. Он рослый и крепкий для шестнадцатилетнего мальчика, и у него обаятельная улыбка. Просто мечта, как говорили девушки в прежние времена, а его мать назвали бы красоткой. Несомненно, он разобьет много сердец.

– Какие планы у вашего сына? – спрашивает он.

– Он хочет поступить в Военную академию. Хочет служить в военно-морском флоте. Он может получить стипендию.

– А ваша дочь – ваша старшая дочь?

– Ах, она еще слишком молода, чтобы строить планы, она витает в облаках.

Теперь Марияна задает вопрос, которого он ждал удивительно долго:

– У вас нет детей, мистер Реймент?

– Увы, нет. Мы так и не дошли до этого – моя жена и я. У нас на уме были другие вещи, другие стремления. А потом, не успев оглянуться, мы развелись.

– И вы никогда об этом не жалели?

– Напротив, я жалел об этом все больше и больше, особенно когда стал старше.

– А ваша жена? Она сожалеет об этом?

– Моя жена снова вышла замуж. Она вышла за разведенного мужчину, у которого были собственные дети. У них родился общий ребенок, и они стали одной из тех современных семей, где все непросто и все зовут друг друга по имени. Так что жена не сожалеет о том, что у нас нет детей – у меня нет. Моя бывшая жена. Я редко с ней общаюсь. Наш брак не был счастливым.

Все, что происходит между ними, – в рамках, в границах безличного личного. Беседа мужчины с женщиной – с женщиной, которая случайно оказалась его сиделкой, а также делает для него покупки, убирает в доме и оказывает помощь; беседа с целью познакомиться поближе в стране, где равны все люди и верования. Марияна – католичка. А он теперь неверующий. Но в этой стране они равны – католицизм и безверие. Возможно, Марияна не одобряет людей, которые женятся и разводятся и которые так и не удосужились завести детей, но она знает, что лучше держать свое мнение при себе.

– Так кто же будет о вас заботиться?

Странный вопрос. Ответ очевиден: «Вы. Вы будете заботиться обо мне в ближайшем будущем, вы или кто-нибудь другой, кого я найму для этой цели». Но, по-видимому, вопрос можно понять и в более широком смысле, например: «Кто будет вашей надеждой и опорой?»

– О, я сам о себе позабочусь, – отвечает он. – Полагаю, я вряд ли доживу до глубокой старости.

– У вас есть родственники в Аделаиде?

– Нет, в Аделаиде – нет. Вероятно, у меня есть родственники в Европе, но я давно потерял с ними связь. Я родился во Франции. Разве я вам не говорил? Моя мать и отчим привезли меня в Австралию, когда я был ребенком. Меня и мою сестру. Мне было шесть лет, сестре – девять. Сейчас ее нет в живых. Она умерла рано, от рака. Так что у меня нет родственников, которые бы позаботились обо мне.

На этом они с Марияной закончили обмен подробностями своей жизни. Но ее вопрос эхом звучит у него в душе: «Кто будет о вас заботиться?» Чем больше он вдумывается в слово «заботиться», тем более непостижимым оно кажется. Он помнит, как собака, которая жила у них в Лурде, когда он был ребенком, лежала в своей корзине. У нее была последняя стадия чумки, она непрерывно скулила, нос был горячий и сухой, лапы подергивались. «Bon, je m’en occupe»[8 - Я о ней позабочусь (фр.).], – сказал его отец и, взяв корзину с собакой, вышел из дома. Через пять минут из леса донесся глухой звук выстрела, вот и все. Он никогда больше не видел собаку. Je m’en occupe.

«Я о ней позабочусь» – я сделаю то, что следует сделать. Вряд ли Марияна имела в виду подобную заботу, с применением дробовика. И тем не менее этот смысл затаился во фразе, готовый просочиться наружу. В таком случае как же быть с его ответом: «Я сам о себе позабочусь»? Что означают его слова на самом деле? Значит ли это, что он наденет свой лучший костюм, проглотит припрятанные таблетки – по две, со стаканом горячего молока – и уляжется в постель, скрестив на груди руки?

У него множество сожалений, он полон сожалений, они приходят к нему по ночам, словно птицы, прилетающие на насест. Главное, о чем он сожалеет, – что у него нет сына. Хорошо было бы иметь дочь, девочки по-своему привлекательны, но по-настоящему он печалится о сыне, которого у него нет. Если бы они с Генриеттой сразу же завели сына, пока еще любили друг друга, или были влюблены друг в друга, или нравились друг другу, этому сыну было бы сейчас тридцать лет, он был бы взрослым мужчиной. Быть может, это невообразимо; но и невообразимое можно вообразить. Вообразить, как они вдвоем, отец и сын, во время прогулки болтают о том о сем – мужской разговор, ничего серьезного. В ходе этой беседы он мог бы уронить замечание, одно из тех туманных замечаний, которые люди произносят в минуты, когда трудно высказать то, что хочется сказать на самом деле, – по поводу того, что пора уходить. Его сын, его воображаемый сын, созданный его воображением, сразу бы понял: пора передать ношу, передать эстафету. «Хм», – сказал бы сын.

Уильям, или Роберт, или кто-то с другим именем имел бы в виду: «Да, я понимаю. Ты выполнил свой долг, позаботился обо мне, теперь мой черед. Я позабочусь о тебе».

Однако даже при нынешнем стечении обстоятельств нет ничего невозможного в том, чтобы завести сына. Он мог бы, например, заприметить какого-нибудь

своенравного сиротку – этакого Уэйна Блайта в зачаточном состоянии – и подать заявку на его усыновление. Хотя шансы, что система социального обеспечения, которую представляет миссис Путтс, доверит ребенка заботам одинокого старого калеки, равняются нулю, они даже ниже нуля. Или он мог бы найти (но каким образом?) какую-нибудь плодовитую молодую женщину и жениться на ней, или заплатить ей, или как-то иначе склонить ее к тому, чтобы она позволила ему поместить или попытаться поместить в ее матку младенца мужского пола.

Но младенца он не хочет. Он хочет сына, настоящего сына, сына и наследника, свой улучшенный вариант, более молодой и сильный.

Его «мальчик».

«Если вы хотите, чтобы я вымыла вашего “мальчика”, – говорила Шина, помогая ему при омовении, – вы должны хорошенько попросить».

Способен ли он со своим «мальчиком», при своих истощенных чреслах, зачать ребенка? Есть ли у него семя и достаточно ли животной страсти, чтобы заронить семя туда, куда требуется? Факты указывают на то, что ему не присущи страстные излияния чувств. Нежность и умеренная чувственность не без приятности – вот что вспомнит о нем Маргарет Маккорд, а с ней еще полдюжины других женщин, исключая его жену. Милый человек, к которому приятно примоститься в холодный вечер; мужчина-друг, с которым чуть ли не по рассеянности ложатся в постель, а позже не знают, было ли это на самом деле.

В общем, не человек страстей. Он не уверен, импонировала ли ему когда-нибудь страсть, одобрял ли он ее. Страсть: чужая территория; комичная, но неизбежная напасть, подобная свинке, которой лучше переболеть в раннем возрасте, в более мягкой форме, чтобы позже не расхвораться всерьез. Собаки, совокупляющиеся в пылу страсти с безрадостными ухмылками на мордах, с высунутым языком.

Глава 8

– Вы хотите, чтобы я вытерла пыль с ваших книг?

Одиннадцать утра. По-видимому, Марияна переделала всю свою работу.

– Хорошо бы. Вы можете почистить их пылесосом вон с той насадкой.

Она качает головой.

– Нет, лучше я их протру. Вы хранитель книг, вы не хотите, чтобы на них была пыль. Вы хранитель книг.

Хранитель книг. Так говорят в Хорватии о людях подобных ему? Что это значит – хранитель книг? Человек, который оберегает книги от забвения? Или человек, цепляющийся за книги, которые никогда не читает? В его кабинете стены от пола до потолка уставлены полками с книгами – книгами, которые он никогда больше не раскроет, не потому, что их не стоит читать, а потому, что у него осталось мало времени.

– Собиратель книг – вот как мы здесь говорим. Вон те три полки, оттуда дотуда – это собрание книг. Это мои книги по фотографии. Остальные – просто обычные книги или книги о садах. Нет, если я что и храню, так это фотографии, а не книги. Я храню их в этих шкафах с выдвижными ящиками. Хотите посмотреть?

В двух старомодных шкафах из кедра у него хранятся сотни фотографий и открыток, на которых запечатлена жизнь в лагерях первых старателей Виктории и Нового Южного Уэльса. Есть и немного фотографий из Южной Австралии. Поскольку это направление не особенно популярно и даже не обозначено должным образом, его коллекция, быть может, лучшая в стране, а то и во всем мире.

– Я начал собирать их в семидесятые, когда еще можно было приобрести фотографии первого поколения. И когда у меня еще хватало мужества ходить на аукционы. Покинутые поместья. Сейчас это привело бы меня в уныние.

Он вынимает для Марияны пачку фотографий, которые являются ядром его коллекции. Поджидая фотографа, некоторые старатели надели свои лучшие воскресные наряды. Другие удовольствовались чистой рубашкой и, возможно, свежим шейным платком; высоко закатанные рукава открывают мускулистые руки. Мужчины смотрят в камеру серьезным взглядом, и у них уверенный вид – это было естественно для людей времен королевы Виктории, но, по-видимому,

бесследно исчезло в наши дни.

Он кладет на стол две фотографии Антуана Фошери.

– Взгляните на эти, – говорит он. – Их сделал Антуан Фошери. Он умер молодым. Если бы не это, он мог бы стать одним из великих фотографов.

Рядом он раскладывает игривые открытки: Лил обнажает часть бедра, надевая подвязку; Флора в дезабилье застенчиво улыбается через обнаженное пухлое плечо. Девчонки, к которым Том и Джек, разгоряченные после раскопок, с наличными в кармане, захаживают в субботний вечерок сами знаете для чего.

– Значит, вот что вы делаете, – говорит Марияна, когда показ фотографий закончен. – Хорошо, хорошо. Хорошо, что вы храните историю. Пусть люди не думают, что Австралия – страна без истории, просто буш – а потом толпа иммигрантов. Как я. Как мы.

Она сняла с головы косынку; она встряхивает головой, поправляет волосы и улыбается ему.

«Как мы». Кто эти «мы»? Марияна и семья Йокич или Марияна и он?

– Это был не просто буш, Марияна, – осторожно произносит он.

– Нет, конечно, не буш – аборигены. Но я говорю о Европе, о том, что говорят в Европе. Буш, потом капитан Кук, потом иммигранты – где же история, говорят они?

– Вы имеете в виду: где же замки и соборы? Разве у иммигрантов нет своей собственной истории? Разве она исчезает, когда вы перемещаетесь из одной точки земного шара в другую?

Она отмахивается от упрека – если только это упрек.

– В Европе говорят, что в Австралии нет истории, потому что в Австралии все новые. Неважно, что вы приехали с этой историей или с той историей, – в Австралии вы начинаете с нуля. Нулевая история, понимаете? Вот что говорят

люди в моей стране, и в Германии, и по всей Европе. «Почему вы хотите уехать в Австралию? – говорят они. – Это же все равно что уехать в пустыню, в арабские страны, в страны, где нефть. Вы делаете это только ради денег», – говорят они. Поэтому хорошо, что кто-то хранит старые фотографии, показывает, что у Австралии тоже есть история. Но они же стоят много денег, эти фотографии.

– Да, они стоят денег.

– Так кто же получит их – ну, знаете, после вас?

– Вы имеете в виду – после моей смерти? Они поступят в Государственную библиотеку. Все уже договорено. В Государственную библиотеку здесь, в Аделаиде.

– Вы их продадите?

– Нет, я их не продам, это будет дар.

– Но они поставят ваше имя?

– Конечно, они поставят на коллекции мое имя. Дар Реймента. Так что когда-нибудь дети будут перешептываться: «Кто он, этот Реймент, который “Дар Реймента”? Он был кем-то знаменитым?»

– Может быть, еще и фотографию, а не только имя? Фотография мистера Реймента. Фотография – это ведь не то же самое, что имя, она живее. А иначе зачем же хранить фотографии?

Несомненно, в ее словах есть резон. Если имена равноценны изображениям, к чему хранить изображения? Зачем хранить фотографии этих давно умерших старателей? Почему бы не напечатать просто их имена и выставить список в витрине под стеклом?

– Я спрошу в библиотеке, – говорит он. – Посмотрю, как они отнесутся к этой идее. Но только не моя фотография в том виде, как сейчас, боже упаси. Такой, каким я был.

Когда-то уборщицы смахивали пыль с книг веничком из перьев, проводя им по корешкам. Но Марияна подходит к этому делу весьма основательно. Она покрывает письменный стол и шкафы газетами, затем относит книги на балкон – по половине полки – и стирает пыль с каждой по отдельности. Опустевшие полки она тоже протирает так, что на них не остается ни пылинки.

– Только постарайтесь, – просит он нервно, – чтобы книги вернулись на полки в прежнем порядке.

Она отвечает ему взглядом, исполненным такого презрения, что он съеживается.

Откуда эта женщина берет энергию? Свое домашнее хозяйство она ведет столь же рьяно? Как это переносит мистер Й.? Или она устраивает показуху только перед своим австралийским боссом, чтобы продемонстрировать, что готова всю себя отдать своей новой родине?

Именно в тот день, когда Марияна стирала пыль с книг, его легкий интерес к ней, который не выходил за пределы простого любопытства, перешел в нечто другое. Он начинает видеть в ней если не красоту, то, по крайней мере, идеал определенного женского типа.

«Сильная, как лошадь, – думает он, глядя на крепкие лодыжки и плотные бедра, которые колышутся, когда она тянется к верхним полкам. – Сильная, как кобыла».

Начинает ли то, что витает в воздухе эти последние недели, фиксироваться на Марияне? И как назвать это чувство? Оно не похоже на желание. Если бы ему нужно было подобрать слово для определения, он сказал бы, что это восхищение. Может ли желание вырасти из восхищения, или это совсем разные вещи? Каково было бы лежать рядом, обнаженными, грудь к груди, с женщиной, которой преимущественно восхищаешься?

Не просто с женщиной – с замужней женщиной, и он не должен это забывать. Не так уж далеко отсюда живет и дышит мистер Йокич. Придет ли в ярость мистер Йокич, или пан Йокич, или господин Йокич, или как он там себя называет, обнаружив, что работодатель его жены грезит с открытыми глазами о том, как будет лежать с ней грудь к груди? Придет ли в ту стихийную балканскую ярость,

которая порождает кровную месть и эпические поэмы? Будет ли мистер Йокич бросаться на него с ножом?

Он подшучивает над Йокичем, потому что завидует ему. Ведь тот обладает этой восхитительной женщиной, а он – нет. У Йокича есть не только она, у него также есть дети от нее: Любица, дитя любви; средняя дочь, имя которой он забыл, но которая, несомненно, такая же хорошенькая; и обворожительный парень с мотоциклом. У Йокича есть они все – а что есть у него? Квартира, полная книг и мебели. Коллекция фотографий – изображений мертвых, которые после его смерти будут пылиться в подвальном помещении библиотеки вместе с другими мелкими дарами, доставляя составителям каталогов больше хлопот, чем эти коллекции заслуживают.

Среди фотографий, что он не показывал Марияне, есть одна, которая особенно его трогает. На ней женщина и шестеро детей, собравшиеся в дверях хижины из глины и прутьев. Вернее, это может быть женщина с шестью детьми, но не исключено, что старшая девочка вовсе не ребенок, а вторая жена, взятая, чтобы занять место первой жены, у которой изможденный вид и истощившиеся чресла.

У них у всех одинаковое выражение лица: не враждебное по отношению к незнакомцу с новомодной машиной, который за минуту до того нырнул под темную тряпку, а испуганное – как у волов перед воротами бойни. Свет бьет им прямо в лицо, подчеркивая каждое пятнышко на коже и одежде. На руке, которую самый маленький ребенок подносит ко рту, отчетливо виден не то джем, не то грязь – скорее второе. Остается загадкой, как удалось сделать подобный снимок в те дни, когда требовалась большая выдержка.

Не только буш, хотелось бы ему сказать Марияне. Не только туземцы. Не нулевая история. Смотрите, вот откуда мы родом: из холода, сырости и дыма этой несчастной хижины, наши корни – эти женщины с черными беспомощными глазами, бедность и изнурительный труд на пустой желудок. Народ со своей собственной историей, с прошлым. Наша история, наше прошлое.

Но правда ли это? Приняла бы эта женщина на фотографии его за своего – этого мальчика из Лурда во Французских Пиренеях, мать которого играла Форе на фортепьяно? Может быть, история, которую он объявляет своей, имеет отношение только к англичанам и ирландцам, а другие иностранцы тут ни при чем?

Несмотря на бодрящее присутствие Марияны, у него, кажется, снова начинается приступ хандры – один из приступов жалости к себе, которые переходят в беспросветный мрак. Ему приятнее считать, что они приходят извне – временная непогода, после которой небо снова проясняется. Он предпочитает не думать, что эти приступы приходят изнутри, что они часть его самого.

Судьба сдает вам карту, и вы разыгрываете эту карту. Вы не хнычете, вы не жалуетесь. Он всегда считал, что такова его философия. Отчего же тогда он не может противиться этим провалам в темноту?

Ответ в том, что он уже не тот. Никогда ему не стать прежним. Никогда ему не обрести способность быстро восстанавливаться. Какая-то сила внутри него, получившая задание починить организм после того, как он был ужасно изувечен сначала на улице, а затем в операционной, перенапряглась и иссякла. То же самое произошло с остальными членами команды – с сердцем, легкими, мускулами, мозгом. Они делали для него что могли и сколько могли, сейчас они хотят отдохнуть.

В памяти всплывает обложка книги, которая у него была когда-то, – популярное издание Платона. На ней была изображена колесница, в которую впряжены два коня – черный конь с горящими глазами и раздувающимися ноздрями, воплощающий низменные желания, и белый конь с более спокойной повадкой, олицетворяющий благородные страсти, которые труднее опознать. В колеснице стоял, держа поводья, молодой человек с обнаженным торсом, греческим носом и венком на голове – очевидно, он олицетворял «я» – то самое, что называет себя я. Ну что же, в его книге – книге о нем, книге его жизни, если ее когда-нибудь напишут, – картинка будет более банальной, нежели у Платона. Он сам – тот, кого он называет Полом Рейментом, – будет сидеть в фургоне, запряженном целым табуном кляч и ломовых лошадей. Они, тяжело дыша и выбиваясь из сил, еле тащат этот фургон. После того как шестьдесят лет подряд эта команда Пола Реймента просыпалась каждое благословенное утро, съедала свою порцию овса, мочилась и испражнялась, а потом впрягалась в фургон и трудилась целый день, она окончательно выдохлась. Пора отдохнуть, скажут они, пора отпустить нас на пастбище. А если им откажут в отдыхе – ну что же, они улягутся прямо в упряжи; и если над их крупами начнет свистеть кнут, пусть себе свистит.

Устало сердце, устала голова, устали кости, и, по правде говоря, он устал от самого себя – устал еще до того, как гнев Божий поразил его через своего ангела Уэйна Блайта. Он никоим образом не желает преуменьшать значение

этого события, этого удара. Это было самое настоящее бедствие, из-за которого сузился его мир, а он стал пленником. Но то, что он избежал смерти, должно было встряхнуть его, открыть окна внутри него, обновить ощущение, что жизнь драгоценна. Ничего подобного не случилось. Он заточен все в том же прежнем «я», только более сером и унылом. От этого впору запить.

Час дня, а Марияна все еще не закончила с книгами. Люба, которая обычно ведет себя как хороший ребенок – если еще позволено делить детей на хороших и плохих, – начинает капризничать.

– Оставьте уборку, – говорит он Марияне, – закончите завтра.

– Я закончу в мгновение окуня, – отвечает она. – Может быть, вы дадите ей что-нибудь поесть?

– Ока. В мгновение ока. Окунь – это рыба.

Она не отзывается. Порой ему кажется, что она не дает себе труда прислушаться к его словам.

Он должен дать Любе что-нибудь поесть, но что? Что едят маленькие дети, кроме попкорна, печенья и корнфлекса, покрытого сахарной глазурью? У него в буфетной нет ничего подобного.

Он добавляет в баночку йогурта ложечку сливового джема, пытается смешать. Люба это ест, и, по-видимому, ей нравится.

Она сидит за кухонным столом, а он стоит возле нее, опершись на изобретение Циммера.

– Твоя мама очень мне помогает, – говорит он. – Не знаю, что бы я без нее делал.

– Это правда, что у тебя искусственная нога? – Она произносит длинное слово небрежно, словно употребляет его каждый день.

– Нет, это та же самая нога, которая была у меня всегда, только немного короче.

– А в шкафу у тебя в спальне? У тебя есть искусственная нога в шкафу?

– Нет, боюсь, что нет, у меня в шкафу нет ничего подобного.

– У тебя есть в ноге винт?

– Винт? Нет, никаких винтов. Моя нога вся естественная. Внутри у нее кость – как в твоих ногах и в ногах твоей мамы.

– Разве там нет винта, чтобы привинчивать твою искусственную ногу?

– Насколько мне известно – нет. Потому что у меня нет искусственной ноги. А почему ты спрашиваешь?

– Потому что. – И она умолкает.

Винт в ноге. Может быть, прежде Марияна ухаживала за человеком с винтами в ноге – винтами, болтами, штырями и шурупами, сделанными из золота или титана, – за человеком с реконструированной ногой, в которой ему было отказано, потому что он слишком стар для этого и не стоит с ним возиться и тратиться на него. Может быть, это все объясняет.

Он помнит, как в детстве ему рассказали историю о женщине, которая в минуту рассеянности воткнула себе в ладонь крошечную иголку. Иголка, оставшись незамеченной, путешествовала по венам этой женщины, пока наконец не вонзилась ей в сердце и не убила ее. Эту историю рассказали ему в назидание, чтобы предостеречь от неосторожного обращения с иголками, но теперь она кажется ему скорее сказкой. Может ли сталь быть враждебна жизни? Могут ли иголки на самом деле попасть в поток крови? Неужели женщина в этой истории могла не заметить, как крошечное металлическое оружие движется к ее подмышке, огибает подмышечную впадину и направляется на юг, к беззащитной, бьющейся добыче? Следует ли ему пересказать эту историю Любе, передавая ей загадочную мудрость, в чем бы она ни заключалась?

– Нет, – отвечает он. – Во мне нет винтов. Если бы у меня были винты, я был бы механическим человеком. Но это не так.

Но Люба уже утратила интерес к ноге, которая оказалась немеханической. Причмокивая, она доедает йогурт и вытирает рот рукавом своего джемпера. Он берет бумажную салфетку и вытирает ей губы – она позволяет ему это сделать. Потом он начисто вытирает ее рукав.

Впервые он дотрагивается до ребенка. С минуту ее запястье безвольно лежит в его руке. Совершенство – другого слова не подобрать. Они выходят из матки, и все у них новенькое, все в совершенном порядке. Даже у тех, кто рождается поврежденным, с изувеченными конечностями или ущербным мозгом, каждая клеточка свежая, чистенькая, как новенькая, как в первый день творения. Каждое новое рождение – это новое чудо.

Глава 9

Маргарет наносит ему второй визит, на этот раз не договорившись заранее. Она приходит в воскресенье, когда он один в квартире. Он предлагает чай, но она отказывается. Она кружит по комнате, затем подходит к нему со спины и начинает гладить его волосы. Он сидит как каменный.

– Значит, это конец, Пол? – спрашивает она.

– Конец чего?

– Ты знаешь, что я имею в виду. Ты решил, что это конец твоей сексуальной жизни? Скажи прямо, чтобы я знала на будущее, как себя вести.

Да, Маргарет не из тех, кто ходит вокруг да около. Ему всегда это в ней нравилось. Но как же он должен ответить? «Да, я покончил со своей сексуальной жизнью, отныне обращайся со мной как с евнухом»? Как он может сказать такое, когда, быть может, это неправда? А что, если это действительно правда? Что, если храпящий черный конь страсти испустил дух? Сумерки его мужественности. Какое разочарование! Но в то же время какое облегчение!

– Маргарет, – говорит он, – дай мне время.

– А твоя приходящая помощница? – спрашивает Маргарет, отыскав слабое место. – Как дела у вас с помощницей?

– У нас с помощницей все хорошо, благодарю. Если бы не она, я, возможно, не давал бы себе труда вставать по утрам с кровати. Если бы не она, со мной могло бы приключиться то, о чем ты читаешь в газетах: когда соседи, почуяв зловоние, вызывают полицию, чтобы взломать дверь.

– Не надо мелодрам, Пол. Никто не умирает от ампутированной ноги.

– Да, но люди умирают от безразличия к будущему.

– Значит, твоя приходящая помощница спасла тебе жизнь. Это хорошо. Она заслуживает медали. Она заслуживает премии. Когда ты меня с ней познакомишь?

– Не принимай на свой счет, Маргарет. Ты задала вопрос, я попытался дать правдивый ответ.

Но Маргарет принимает на свой счет.

– Ну, я пошла, – говорит она. – Не вставай, я выйду сама. Позвони мне, когда будешь готов снова общаться с людьми.

Когда он посещал специалиста по физиотерапии, тот предупредил, что у отсеченных мускулов будет тенденция сокращаться, оттягивая назад бедро и ягодицы. Опираясь на ходунки, он проверяет свободной рукой, началось ли предсказанное. Становится ли его уродливая полуконечность еще уродливее?

Если бы он сдался и согласился на протез, имело бы смысл упражнять культю. А так ему от культи никакого проку. Все, что он сможет, – это таскать ее за собой, как нежеланного ребенка. Неудивительно, что она хочет сократиться, съежиться, скукожиться.

Но если отвратителен этот предмет из плоти, то насколько омерзительнее нога из розовой пластмассы с крючком наверху и ботинком внизу – аппарат, к

которому пристегиваешься утром и отстегиваешься на ночь, роняя его на пол – вместе с ботинком! Его трясет при одной мысли об этом; он не хочет иметь с этим ничего общего. Костыли лучше. По крайней мере, они честнее.

Тем не менее раз в неделю он отправляется на пароме на Джордж-стрит в Норвуде, на занятия по реабилитации, которые ведет Маделин Мартин. В классе полдюжины других людей с ампутированными конечностями, всем им за шестьдесят. Он не только единственный среди них без протеза, но и единственный, кто от него отказался.

Маделин не может понять его позицию – так она это называет.

– На улице полно людей, – говорит она, – про которых никогда не скажешь, что у них протезы, – такая у них естественная походка.

– Я не хочу выглядеть естественно, – возражает он. – Я предпочитаю чувствовать себя естественно.

Она качает головой, недоверчиво улыбаясь.

– Это новая глава в вашей жизни, – увещевает она. – Старая глава закончилась, вы должны с ней попрощаться и принять новую. Принять – вот все, что вам нужно сделать. И тогда все двери, которые вы считаете закрытыми, тотчас снова откроются. Вот увидите.

Он не отвечает.

Хочет ли он на самом деле чувствовать себя естественно? Чувствовал ли он себя естественно до происшествия на Мэгилл-роуд? Он понятия не имеет. Но, быть может, именно это и значит чувствовать себя естественно: понятия не иметь. Чувствует ли себя естественно Венера Милосская? Несмотря на то что у нее нет рук, Венера Милосская считается идеалом женской красоты. Говорят, что когда-то у нее были руки, но потом они отломались. Их потеря делает ее красоту еще пронзительнее. Но если бы завтра открыли, что на самом деле натурщицей для статуи Венеры была женщина с ампутированными руками, ее немедленно перенесли бы в подвальный этаж. Почему? Почему можно восхищаться изображением женщины, у которого изъян, но не изображением женщины с изъяном, как бы аккуратно ни были зашиты культи?

Он много отдал бы за то, чтобы снова крутить педали своего велосипеда, разъезжая по Мэгилл-роуд, и чтобы в лицо дул ветер. Он дорого бы дал за то, чтобы глава, которая сейчас закрыта, вновь открылась. Ему бы хотелось, чтобы Уэйн Блайт никогда не рождался на свет. Вот и все. Ответ простой. Но он предпочитает промолчать.

У конечностей есть память, рассказывает Маделин классу, и она права. Когда он делает шаг на костылях, его правая сторона описывает ту же дугу, по которой прежде двигалась бы нога; ночью его холодная ступня все еще ищет свою холодную призрачную сестру.

Ее задача, говорит им Маделин, – перепрограммировать прежние, теперь уже устаревшие системы памяти, которые диктуют нам, как удерживать равновесие, как ходить, как бегать.

– Конечно, нам хочется держаться за наши прежние системы памяти, – говорит она. – Иначе мы бы не были людьми. Но мы не должны за них держаться, если они препятствуют нашему продвижению вперед. Становятся у нас на пути. Вы со мной согласны? Конечно, согласны.

Как и все профессионалы-медики, с которыми он сталкивается в последнее время, Маделин обращается с пожилыми людьми, вверенными ее заботам, как с детьми – не очень умными, немного угрюмыми, немного медлительными детьми, которых нужно встряхнуть. Самой Маделин еще нет шестидесяти, ей нет и пятидесяти, нет даже сорока пяти. Несомненно, она бегает, как газель.

Для того чтобы перепрограммировать память тела, Маделин использует танец. Она показывает им видеокассеты, на которых фигуристы в облегающих алых или золотистых костюмах под музыку Делиба скользят по льду, делая петли и описывая круги, – сначала левая нога, потом правая.

– Слушайте, и пусть вами правит ритм, – говорит Маделин. – Пусть музыка проходит через ваше тело, пусть она играет у вас внутри.

Вокруг него те из его собратьев, кто уже приобрел искусственные конечности, изо всех сил стараются имитировать движения фигуристов. Поскольку он не может это делать – не может кататься на коньках, не может танцевать, не

может ходить, не может даже стоять прямо без посторонней помощи, – он прикрывает глаза, цепляется за поручни и раскачивается в такт музыке. Где-то там, в идеальном мире, он скользит по льду рука об руку с привлекательной преподавательницей.

«Гипнотизм, и больше ничего! – думает он. – Как странно, как старомодно!»

Его личная программа (у каждого из них есть своя личная программа) состоит главным образом из упражнений, направленных на обретение равновесия.

«Вам всем нужно учиться восстанавливать равновесие, – объясняет Маделин, – при вашем новом теле».

Вот как она это называет: ваше новое тело, а не ваше усеченное старое тело.

Существует также то, что в больнице называлось гидротерапией, а Маделин называет работой в воде.

– Выпрямите ноги, – говорит Маделин. – Обе. Как ножницы. Чик-чик-чик.

В прежние дни он бы скептически относился к людям, подобным Маделин Мартин. Но до поры до времени Маделин Мартин – это все, во что ему предложено верить. Поэтому дома, иногда на глазах у Марияны, иногда – нет, он проделывает упражнения из своей личной программы, даже качание под музыку.

– Хорошо, хорошо для вас, – одобрительно кивает Марияна. Однако она не потрудилась скрыть нотку профессиональной иронии в голосе.

«Хорошо? – хотелось бы ему сказать ей. – В самом деле? Я не так уж уверен, что это для меня хорошо. Как же может быть хорошо, когда я нахожу все это унизительным, все – от начала до конца?»

Он сдерживается. Он вошел в зону унижения; это его новый дом; он никогда не покинет его; лучше промолчать, лучше принять.

Марияна собирает все его брюки и уносит к себе домой. Через два дня она приносит их обратно – правая штанина аккуратно подогнута и подшита.

– Я не режу их, – поясняет она. – Может быть, вы передумаете и наденете протез. Посмотрим.

Протез. Она произносит это слово так, будто оно немецкое. Тезис, антитезис, затем – протез.

Хирургическая рана, с которой до сих пор не было проблем и которая, как он полагал, уже зарубцевалась, начинает чесаться. Марияна посыпает ее порошком антибиотика и меняет повязки, но зуд продолжается. Воспаленная рана представляется ему драгоценностью, сияющей во мраке. Он, в одном лице и стражник и заключенный, обречен сидеть над ней на корточках, охраняя ее.

Зуд уменьшается, но Марияна продолжает особенно тщательно промывать культю, присыпать порошком, нянчиться с ней.

– Вы думаете, ваша нога снова вырастет, мистер Реймент? – совершенно неожиданно спрашивает она однажды.

– Нет, я никогда так не думал.

– И все-таки вы, может быть, иногда так думаете. Как маленький ребенок. Ребенок думает: ты ее отрезаешь, а она снова вырастает. Понимаете, что я имею в виду? Но вы же не ребенок, мистер Реймент. Так почему же вы не хотите этот протез? Может быть, вы стесняетесь, как девочка? Может быть, вы думаете: вот вы идете по улице, и все на вас смотрят. Этот мистер Реймент, у него всего одна нога! Это не так. Это неправда. Никто на вас не смотрит. Вы носите протез, никто на вас не смотрит. Никто не знает. Никому нет дела.

– Я подумаю об этом, – говорит он. – Еще много времени в запасе. Просто уйма времени.

После шести недель работы в воде, раскачиваний под музыку и перепрограммирования он отказывается от услуг Маделин Мартин. Он звонит ей в студию в то время, когда занятия уже закончились, и оставляет сообщение на

автоответчике. Он даже подумывает о том, чтобы позвонить миссис Путтс. Но что же он скажет миссис Путтс? В течение шести недель он готов был верить в Маделин Мартин и в лечение, предложенное ею: лечение старых систем памяти. Теперь он перестал в нее верить. Вот и все, тут больше нечего сказать. Если у него и осталось еще немного веры, то она перешла на Марияну Йокич, у которой нет студии и которая не обещает излечения, а лишь осуществляет уход.

Усевшись на краешек кровати и нажимая левой рукой на его пах, Марияна, кивая, наблюдает, как он сгибает, растягивает и вращает культю. Легчайшим нажатием она помогает ему. Она массирует ноющий мускул; потом она переворачивает его и массирует нижнюю часть спины.

При прикосновении ее руки он узнаёт все, что ему нужно знать: что Марияна не находит его ставшее дряблым тело отвратительным; что она готова, если сможет и если он позволит, передать ему через кончики пальцев изрядную долю своего цветущего здоровья.

Это не лечение, и делается все это не с любовью; вероятно, это всего-навсего традиционный медицинский уход, но этого достаточно. Что до любви, то ее питает он один.

– Благодарю вас, – говорит он, когда все закончено, говорит с таким чувством, что она бросает на него лукавый взгляд.

– Не за что, – отвечает она.

Однажды после ухода Марияны он вызывает такси, затем начинает медленно, боком спускаться по лестнице. Он крепко держится за перила, потея от страха, что выскользнет костыль. К тому времени, как прибывает такси, он уже ждет на улице.

В публичной библиотеке – где, к счастью, ему не нужно покидать первый этаж, – он находит две книги о Хорватии: путеводитель по Иллирии и далматскому побережью и путеводитель по Загребу и его церквям, а также несколько книг о югославской федерации и о недавней войне на Балканах. Однако о том, ради чего он сюда приехал, желая просветиться, – о характере Хорватии и ее народа – нет ничего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7379295&lfrom=201227127) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

Наплевать! (фр.)

2

Ветчина (фр.).

3

Любимая (фр.).

4

Любовь (фр.).

5

Я раскаиваюсь (фр.).

6

Букв. радость жизни (фр.).

7

Помни о смерти (лат.).

8

Я о ней позабочусь (фр.).

Купить: https://tellnovel.com/dzhon-kutzee/medlennyy-chelovek-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити